A photograph of a man sitting in a meditative pose on a large, rounded rock formation. The rock has a distinct rectangular indentation on its top surface, which the man is sitting on. The background shows more of the rock formation and some greenery. The lighting is bright, suggesting a sunny day.

**Сергей Торопцев**

**Новый год  
на пальце  
Будды**

# Сергей Аркадьевич Торопцев

## Новый год на пальце Будды

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=29806496](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29806496)*

*SelfPub; 2018*

### Аннотация

Автор сих опусов, китаевед, филолог и киновед, переводчик китайской литературы, многожды посещавший Китай, облек в художественную форму многое из увиденного и узнанного за долгое собственное бытие – с тем, чтобы воссоздать перед читателем не только абрис, но и образ Китая, как древнего, так и современного, погрузить в душу китайца, разгадать психологические мотивы его мыслей и поступков в потоке повседневности. Что-то ушло безвозвратно, но не исчезло, а легло в фундамент сегодняшнего бытия, и потому забывать его не следует. Книга обильно иллюстрирована, в том числе и фотографиями, сделанными автором в разновременных поездках по Китаю.

# Содержание

Часть 1	4
Учитель десяти тысяч поколений	4
Три притчи о Конфуции	4
Явление мудреца	5
Беседа в Абрикосовом саду	14
Возвращение в вечность	25
Аромат высочайшей любви	36
Сеанс трансцендентно-кармического погружения	36
Возвращение к Великой Белизне	80
Притча о том, как опальный придворный академик Ли Бо был вознесен Белым Драконом из земной тьмы в ослепительные бездны Неба	81
Часть 2	105
Бамбук	107
Старое кресло	131
Смерть под деревом	139
Больно...	148
Памяти кинорежиссера	148
Чжан Нуаньсин	148
Конец ознакомительного фрагмента.	154

**Часть 1**  
**Из тьмы времен. Рассказы**

**Учитель десяти тысяч поколений**

**Три притчи о Конфуции**



## **Явление мудреца**

С восьмой луной, как всегда, налетели ветры, крепчая день ото дня, и к третьей декаде уже всю шумели в соснах, волновали тутовник и настойчиво напоминали кленовым листьям, что пора краснеть и ниспадать на породившую их землю, ибо осень не за горами. А что за горами? На востоке – нескончаемый, пугающий океан, на севере – великая свя-

ценная вершина Тайшань, противостоящая всему злу этого мира, могучая Желтая река, питающая матушку-землю, но и угрожающая жизни своими грозными разливами, а за рекой – холодные края степняков, на юге – зловонные леса, обиталище хищников да варваров, на западе – блистательная столица Лои, с высоких стен которой, быть может, видна обитель блаженных за вечным хребтом Куньлунь... Горы уходят в небо, смыкая с ним землю в союз, порождающий все живое.

Ницю, Глинистый холм, что находится километрах в тридцати к юго-востоку от города Цюйфу, трудно было причислить к горам, хотя некоторые именовали его Нишань – Глинистая гора. Сознавая, видимо, свое предназначение, этот пузырек земли рвался ввысь, но какая-то неведомая сила остановила его вершину в полусотне метров от земли и сплющила ее точно таким же образом, как впоследствии темечко увидевшего тут свет будущего Учителя. Быть может, много позже, когда холм оказался навечно связан с великим Учителем, почитатели повысили его статус до «горы», но в ту восьмую луну 22 года правления луского Сянгуна, что сегодня мы назовем сентябрем 551 года до нашей эры, его больше именовали холмиком – *цю*: так он и вошел затем в детское имя Конфуция – Кун Цю.

Ничем холм не был примечателен, его и не примечали. Разве что походя – благо, приткнулся он совсем рядом с фамильной усадьбой Кунов – лакомились черными ягодами ту-

товых деревьев, облепивших склоны, да мальчишки любили прятаться в небольшой пещерке у подножия холма. Впрочем, их частенько гоняли оттуда будущие мамы, приспособившиеся рожать на гладкой сланцевой плите внутри пещеры.

А будущий папаша Учителя, почтенный служивый по имени Шулян Хэ, пришел как-то в семейство Янь с деловым предложением к своему давнему другу, главе этого семейства. Он присматривал себе третью жену.

– Ты понимаешь, – резанул он с прямотой, выработанной на поле брани, – мне скоро семьдесят, а обе мои бабы год за годом рожают лишь девок. Кто же будет хранить таблички с именами предков, ставить дары к алтарю? Неужто род наш угаснет?



Все были смущены. Что делать? Отказать другу или дать согласие на брак, который молва тут же окрестит «диким»? Между супругами разница в возрасте не должна быть больше десяти лет. А старый вояка давно перешагнул за шестьдесят четыре, когда мужская сила, считали китайцы, должна была его покинуть... Старшие дочери опустили глазки, молчаливо бунтуя. Но младшая, Чжи, в свои неполные шестнадцать только-только переступившая порог зрелости, прямо

заявила:

– Если батюшке угодно, я выйду за почтенного Шулян Хэ.

Такое безоговорочное дочернее послушание и было выражением ритуального *сяо* – «сыновней почтительности».

Прошел положенный срок, и стало ясно, что молодка понесла. Оба супруга взволновались.

– Ну, кто же там у тебя? – поминутно вопрошал он, понимая, разумеется, что ответа нет, но подсознательно надеясь.

И вот однажды жена ответила, чуть смущаясь значительностью момента:

– Мне был сон. Черный дух возвестил, что у Вас будет сын, и станет он великим человеком.

Шулян Хэ был настолько счастлив, что даже не обратил внимание на вторую часть пророчества – «великий человек». Да и что такое преходящее величие отдельного человека, крохотной песчинки, рядом с величием самого события – у него будет сын, его род не угаснет, продолжится в веках!

– Вот только, – продолжала жена, – я не понимаю, почему он должен родиться не в Вашем доме, а в дупле тутового дерева.

– Что?! – взревел старый воин. Ему, конечно, не привыкать к полевым условиям, и все же появление давно лелеемого наследника должно быть обставлено по всем правилам ритуала.

Спустя время они сообразили – ту самую пещерку у подножия Глинистого холма, заросшего тутовыми деревьями, в

их краях именовали «дуплом тута».

Ну, что ж, дупло так дупло. С духами не спорят. Духи живут вне времени и поддерживают связь настоящего с прошлым и будущим.

Восьмая луна приближалась к своему завершению. День *байлу*, Белых рос, стоял на пороге холодов. Уже отпраздновали *цюфэнь* – Середину осени, возложив к разросшемуся каштану на общинном Алтаре земли просо и свинину. Шулян Хэ долго сидел у могил предков, подливая им и себе неудержимо остывающее мутновато-белесое вино из чайника.

Каждый день Чжи ходила к пещере и, стремясь умаслить духа Глинистого холма, молилась, ублажала его вяленным мясом и ароматным вином из отборного зерна. Муж самолично покупал самые лучшие продукты в самой надежной лавке города и часто присоединялся к жене в общении с могущественным духом. На духа только и возлагал он свою последнюю надежду. В саму пещеру войти, правда, было трудновато – свод низок, а сразу за входом и еще понижается, так что старик оставался снаружи, доверяя интимные духовные контакты жене. Деревья на склонах вздымали вверх листья, приветствуя женщину, а когда она уходила, свешивали их вниз в почтительном поклоне.

Последний день Земли, напрягшейся в ожидании Великого Мудреца, мало чем отличался от предыдущих. Разве что ветер, всегда крепчавший на закате, особо сильно и долго

гулял по соснам, и шорох веток, не оставивший равнодушным многих китайских поэтов, нашептал супругам – «ждите...» Но от холма Чжи вернулась потрясенной – ей явился *цилинь*-единорог, всеми признанный вестник рождения великого мудреца. Он вдруг возник перед нею, будто сгустился из воздуха, стремительный и грозный, укутанный в чешуйчатую броню, со вздыбленной на загривке шерстью. Чжи улыбнулась единорогу и повязала на рог, торчащий из середины лба, свою яркую шелковую ленту. Зверя она не испугалась, она испугалась того, что он возвещал.



С инстинктивной тщательностью Шулян Хэ поправил фитилек в лампе, долил масла, принес связку бальзамника, чтобы ночью, если придет час, разжечь огонь, потеряв ветку об ветку. Ему не спалось. Ночь всегда приносила тревогу. Сгушавшийся мрак как бы вычеркивал из жизни этот промежуток времени до утра. Время без света пропадало, не включалось в течение дней. Ничего хорошего ночь не несла... Но почему же дух, явившийся в сон Чжи, был черным, как тьма?! Или как тутовая ягода.

И как раз в тот момент, когда на женской половине дома началась знаменательная суматоха, старик забылся нервным сном. Ему снился сын, которому дух предрек счастливое будущее. А в чем заключалось счастье? В благорасположении предков. Шулян Хэ явственно увидел во сне вычурный, в форме слона с поднятым хоботом, бронзовый сосуд для жертвоприношений, испещренный иероглифами, которые напомнили ему следы птиц на песке. Его отлил сын, получив от правителя щедрый дар. Сын станет ублажать предков, и те пошлют ему тысячу осеней, десять тысяч лет жизни, тысячи десятков монет, тысячи *даней* зерна, дом, полный детей и внуков, здоровье тела, спокойствие духа, отвращение к низменным соблазнам, но и отдохновение с красавицами за вином и закусками, а в завершение – безмятежную кончину, достойную благостной жизни в умиротворенной Поднебесной.

Уже близилось утро, когда старик очнулся от сладких снов. Узрев пустоту на женской половине, он встрепенулся и с молодой прытью, памятной по давним годам брани, ринулся к Глинистому холму.

Ветер, как обычно на рассвете, вновь, после тихой ночи, усилился. Теперь он летел явно от Тайшань – священной горы, с величием которой китайцы от века соразмеряли все, что благородно вздымается над рутинным однообразием бытия. В этом порыве явственно улавливался голос предков, оповещавших Шулян Хэ о том, что он исполнил свой святой долг перед ними.

У холма в этот ранний час никого не было, но музыка, неизвестно откуда возникающая, наполнила пространство. Невидимые музыканты мерно били по каменным пластинам, подвешенным к большой раме, и маленьким барабанчикам, ритмизуя басовитые ритуальные песнопения. Они сопровождались прерывистыми вздохами шелковых струн лютни-цинь. К холму летели птицы, чтобы крылами своими обмахивать младенца, бежали звери, чтобы защищать его. Из глубин земли поднялась вода и забила фонтанчиком, чтобы было чем обмыть новорожденного.

Над примятым темечком холма разгоралось зарево – солнце вставало приветствовать новую эпоху, о которой еще никто не ведал.

## Беседа в Абрикосовом саду

Едва занялся рассвет, как у ворот раздался стук деревянной колотушки. Хозяин дома уже давно был на ногах и степенно вышел на восточное крыльцо, приветствуя гостя. Незнакомый мужчина в бедной, но опрятной одежде отвесил почтительный низкий поклон:

– Слава Ваша, Учитель, полнит Поднебесную. Не могу ли припасть к Вашим вратам?

В такой изысканной форме он выразил желание стать учеником Конфуция и с некоторой настороженностью добавил:

– Вот связка сушеного мяса. Больше мне заплатить нечем.

– Если можно разбогатеть, я готов стать хоть возницей, – произнес Конфуций так, что невозможно было понять, серьезен он или шутит. – Ну, а уж коли не получается – следуй своим путем. Того, кто не хочет учиться, не научишь. Тем же, кто хочет, я никогда не отказываю. Хотя высшее знание дается при рождении, но следующее приобретается в учении. Доставляет ли Вам учеба удовольствие?

德侔天地道冠古今  
刑述六經垂憲萬世



– Улыбка проясняет красоту, – ответил пришелец строкой из «Книги песен».

– Нити рисунка расцветивают блеклый фон.

– Как ритуал, который познается в учении?

– Вы точно уловили мою мысль. Позвольте пригласить Вас в залу. С Вами можно беседовать о «Книге песен». Ее слова правильны и мудры, – одобрил Конфуций догадливость пришельца. Дал знак сыну. Боюй принес заварку свежесушенного чая в шероховатом коричневом чайнике из толстой глины и наполнил крохотные чашечки гляцевитой бронзово-зеленой пахучей жидкостью.

– Учитель познал волю Небес? – полуспросил, полуконстатировал пришелец.

– В пятнадцать лет я обратил помыслы к учению. В тридцать утвердился. В сорок сомнения окончательно покинули меня. Воля Неба открылась в пятьдесят.

– Что ждет Учителя на *Дао*-Пути?

Глаза мудреца чуть увлажнились, затуманился взор. Он еще не окончательно расстался с иллюзией поспособствовать своему властителю в улучшении нравов подданных. Но уже прояснялось понимание великой миссии – не служить сильным мира сего, все ниже сгибая поясницу, как его блистательный предок в седьмом колене Чжэн Каофу, а стать Учителем Поднебесной. Давно уже мудрец ощущал, что в государстве, которое не следует праведным *Дао*-Путем, стыд-

но быть богатым и знатным.

Прозревая все это, он как-то заявил ученикам, что думает оставить свой дом и поселиться среди варваров.

– Но они же не знают ритуала, нравы там грубые, – ужаснулись ученики. А Конфуций объяснил свою мысль с глубокой мудростью просветителя:

– Если среди них появится благородный муж, их нравы изменятся к лучшему.

Собственно говоря, это свое предназначение он, видимо, начал ощущать еще в юности, и так и следует расшифровывать его формулу «в пятнадцать лет обратил помыслы к учению». Не балбесничал же он предыдущие полтора десятилетия! Мальчик был прилежен, усидчив, любознателен. Но – как бы это получше выразить? – казалось, будто он не получает знания, а проявляет то, что уже находится в нем в скрытом, быть может, даже для него самого, виде.

И сегодня мудрец уже близился к обретению того тонко обостренного слуха, когда человек чутко отличает правду от лжи. Его сердце раскрывалось для давно лелеемой полной гармонии со столь почитаемым им ритуалом. Много позже Конфуций обозначит эти достигнутые рубежи – шестьдесят и семьдесят лет.

Уже подтягивались ученики. Конечно, не все семь десятков сразу. Прибежал запыхавшийся Цзылу с радостной вестью – властитель царства Вэй хочет видеть Учителя. Возможно, пригласит к себе на службу. Конфуций позвал Цзы-

ду в кабинет, где на полках лежали драгоценные старинные книги – прошитые кожаными шнурами связки потемневших от времени гладких деревянных дощечек, испещренных вырезанными на них иероглифами. Остальные ученики пока присели в зале, тихонько переговариваясь. Обращаясь к новичку, Юань заметил:

– Трудно объяснить, чем так привлекает Учитель, он всегда впереди, и знания, вложенные им в нас, расширяют ум, но ритуалом он сдерживает порывы. Когда-то я хотел покинуть его, да не смог.

– Наш Учитель мягок, доброжелателен, уступчив, учтив, и поэтому ему открывается многое, – добавил Цзыгун.

После совместной трапезы Конфуций предложил выйти во двор. Денек погожий, как чаще всего и бывает на восьмой луне, как было и тогда, полвека назад, когда в Тутовой пещере на склоне Глинистого холма в таинственно-сакральное звучание небесной музыки вплелся первый крик новорожденного, будущего «учителя десяти тысяч поколений».

Но теперь наш герой уже не крошка Цю, а высокий, плотный, вальяжный бородач в просторном халате, спускающемся до тупоносых башмаков, не пряча их, в непрременной шапке, прикрывающей длинные волосы, собранные в пучок и заколотые шпилькой. Теперь его именуют Наставник Кун – Кун-цзы, или, иначе, Кун Фу-цзы: через много веков это имя в искаженном звучании «Конфуций» станет известным и в далеких западных краях, где живем и мы с вами.



В негустой тени абрикосового дерева, причудливо разбросавшего ветви в разные стороны, лежали округлые циновки для учеников и одна для Учителя – побольше, толстой подушкой приподнятая над землей, снабженная высокой спинкой, к которой Учитель, всегда подтянутый и церемонный, не прислонялся.

Он, как обычно, чуть задержался – переодевал халат: традиционно длинные, просторные рукава, развевающиеся,

точно крылья большой птицы, так что их приходилось придерживать, стесняли движения, и специально для уроков он велел их обрезать. Для человека, поклоняющегося ритуалу, это выглядело, конечно, странно. Ученики переглядывались: нельзя слепо следовать каждому слову. Конечно, Учитель предостерегал – «не смотри на то, что не соответствует ритуалу, не слушай того, что не соответствует ритуалу, не говори того, что не соответствует ритуалу, не делай того, что не соответствует ритуалу». Тем не менее, он счел своим долгом нанести визит некоей Наньцзы – даме, не почитавшей правила высокой морали. Это вызвало нарекания даже со стороны верных учеников. Но увы – сия дама была супругой владетельного правителя царства Вэй, куда он прибыл с тайной надеждой послужить царю своими советами.

Великий мудрец, сказали бы мы сегодня, был не догматиком, а прагматиком. Видимо, не всегда «изучение неправильных взглядов вредно», как повторял Учитель. Избегайте крайностей, «золотая середина» и еще раз «золотая середина»!

– Кто лучше, Ши или Шан? – как-то спросил его Цзыгун. Конфуций ответил намеком, оттачивая догадливость ученика:

– Ши переходит середину, Шан не доходит до нее.

– Значит, Ши лучше?

Наставник улыбнулся:

– Переходить так же плохо, как не доходить.

Прежде, чем сесть, Учитель с присущей скрупулезностью поправил циновку. Аккуратность одежды, прически, манер, всего поведения – вот что отличает цивилизованного жителя Срединной страны от дикого варвара. Оглядел учеников.

– Конечно, лишь педант-книжник ставит манеры выше естественности. У людей с красивыми словами и притворными манерами мало человеколюбия. Но если в человеке, наоборот, естественность затмевает воспитанность – это неотесанная деревенщина.

Так резко он одернул тех, кто позволил себе расслабиться и вытянуть ноги, что считалось непристойным.

– Почтительность к родителям, уважение к старшим, честность в делах, любовь к людям – вот главное. А если после осуществления всего этого у молодого человека еще останутся силы, их можно потратить на чтение книг.

Ученики молчали, гадая, к какой теме беседы выведут рассуждения Учителя.

– Но прежде, чем следовать ритуалу, необходимо исправить имена.

– Как это связано с ритуалом? – удивился Цзылу.

– Если имена не отражают сути, они пусты, не имеют оснований. Коли так, удастся ли что-нибудь осуществить? И тогда люди не понимают, как им себя вести, что делать. А какой же ритуал без деяний?!

Стало ясно, что сегодня речь пойдет о государстве, управлении, правителе и подданных. Цыгун оживился. Для его

красноречия это была благодарная тема.

– Что значит управлять государством мудро?

– Правитель должен быть правителем, сановник – сановником, как отец – отцом, а сын – сыном. Совершенствуй себя, и тебе не трудно станет управлять государством. А если не совершенствовать себя, то как же совершенствовать других? Стране необходимы пища и оружие, а народ должен доверять правителю.

– А чем, если понадобится, можно пожертвовать? – до-тошно копался Цыгун.

– Оружием, – тут же ответил Конфуций. И через мгновение добавил:

– И пищей. Но без доверия государство не устоит. Ну-с, давайте представим себе, что вы уже не мои ученики, а важные сановники, может быть, даже властители царств. С чего вы начнете управление? Ну-ка, Цылу! – обратился он к своему любимцу, служившему у вэйского правителя и потому больше других поднаторевшему в практике государственных дел. Тот не стал медлить:

– Даже крупное – с войском в тысячу боевых колесниц – царство может страдать от внешних набегов и внутренних раздоров. Трех лет мне достаточно, чтобы прибавить народу сил, внушив ему понятия морали и справедливости. Тем самым я покончу с голодом и разрухой.

Как ни странно, Учитель ничего не ответил на такую программу экономического подъема через нравственное оздо-

рование страны, хотя и сам, бывало, говаривал нечто подобное. Но на сей раз он только усмехнулся.

Недоумевая, следующий, Жань Ю, принялся осторожничать – наделил себя много меньшими владениями, сместил акценты:

– За три года приведу народ к достатку. Затем призову благородного мужа, чтобы научил ритуалу и музыке, исправляющей нравы.

И вновь ответом Учителя стала лишь усмешка. Ученикам уже была известна его манера не растолковывать, а намекать, обращаясь к уму острому, способному подхватить, развить едва обозначенное. «Того, кто не в состоянии по одному углу предмета составить представление об остальных трех, – разъяснял Конфуций свою методичку, – учить не следует».

И все-таки ученики растерялись, принялись едва различимо бормотать что-то самоуничижительное об «отсутствии умения», о невозможности подняться выше «младшего помощника». Такого Учитель не терпел. Уважение к себе было для него основой уважения к другим. «Благородный муж, – говорил он, – не суетится и держит себя с величавым спокойствием».

Конфуций оживился лишь ближе к концу беседы, когда, казалось, все мнения были уже высказаны, но ни одно его не удовлетворило. Наступила пауза, молчание которой нарушали лишь заунывные звуки *цинь*, чьи струны неторопливо перебирал Цзэн Си. Ощувив требовательный взгляд Учите-

ля, он отложил музыкальный инструмент в сторону, поднял голову к прихотливо изогнутым ветвям абрикосового дерева и сказал, словно не на вопрос отвечал, а стихотворение продекламировал:

– Подставить ветру грудь, очиститься в струе и с песнею вернуться в дом...

Что с ним? Это же серьезный урок. Какое неуважение к Учителю! Конечно, «ветер и поток» – элементы мироустройства, они формируют взгляды человека... Но речь-то должна идти о государственном управлении...

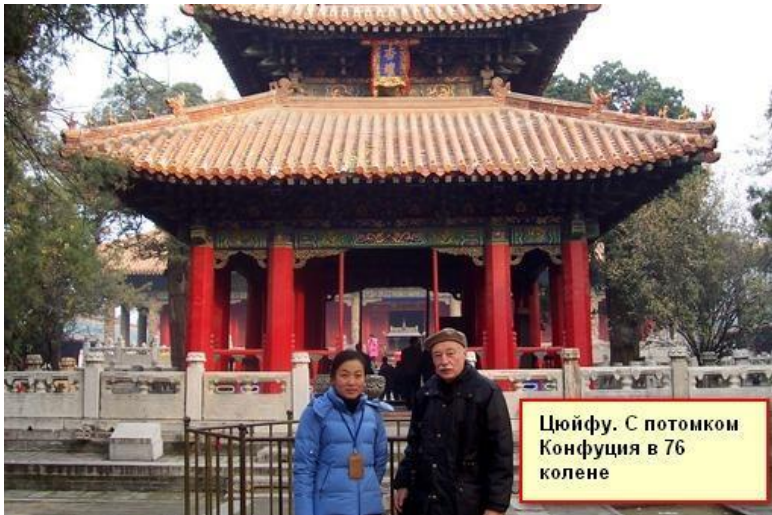
А Учитель улыбнулся:

– Я разделяю мечту Цзэн Си. Он понял суть – да, мудрое правление начинается с исправления нравов, но исправление нравов следует начинать с себя. Разве могут управлять государством те, чьи таланты умещаются в крохотной бамбуковой корзинке? Лишь тот, кто способен почувствовать стыд за свои поступки, может вершить праведные дела. Не усовершенствуешь себя – как сумеешь усовершенствовать других?! Низшая глупость столь же неизменна, как и высшая мудрость.

– Осталась ли у нас надежда, Учитель?

– В страну благоденствия спускается Феникс, из вод появляется Конь-Дракон. А тут их давно не видно. Мудрые уходят из общества, достойные покидают края, где нет порядка. Великий первоправитель Шунь управлял, не действуя. Он лишь восседал на троне, обратив лицо к югу, – и слышал

божественное пение Феникса...



Цзылу понял, что со службой у вэйского властителя ничего у Конфуция не выйдет. Как и в царстве Лу, и в Ци... Великая мудрость еще не была востребована власть имущими...

А будет ли когда-нибудь востребована?

## **Возвращение в вечность**

...Вот и все. Учителя нет. Простился с миром, упокоил-

ся, ушел к предкам, вернулся на Западное небо. Завершился, как говорят о высоком сановнике, снят с довольствия – о служивом, об ученом муже.

Гора рухнула. Так можно сказать лишь о смерти правителя царства, но разве столь благородный муж, каким был Учитель Кун, – не достойней правителей?! Те считали, будто оказывают ему честь, принимая во дворцах, украшенных варварской пышностью, приглашая на службу, но не слишком приближая к себе, жалуя уделами подальше от столицы, чтобы не мешал своими строгими наставлениями. На самом-то деле не Учитель нуждался в их милости, а им необходимы были его мудрые советы, и когда он, не востребованный, удалялся, царства приходили в упадок. Конфуций долго не мог понять, отчего Сыны Неба, восседавшие на престолах, вежливо его выслушивали, но советов не исполняли. Лишь завершая свое земное бытие, он подытожил: «Только в шестьдесят я научился отличать правду от лжи».

Так думал Цыгун, безутешный ученик Конфуция. Неостановимо лились слезы – «кровавые», как в ту завершающуюся эпоху «Чуньцю», «Весен и Осеней», обычно именовали слезы прощальной печали. Да, красиво говорил на похоронах Ай-гун, властитель царства Лу. Небо, дескать, его не пожалело, осиротило, почтенный старец Кун-цзы покинул его, бросил одного на троне... Не выдержал тогда Цыгун, напомнил властителю слова Конфуция: «Как может человек быть неискренним?! Это же повозка без скрепы. На такой не

поедешь». Правитель отвергал советы живого Учителя. Так искренно ли поет он хвалу усопшему?

Шел 16-й год правления Ай-гуна – 479-й до нашей эры, по нынешнему летосчислению, принятому не только в далеких от Китая западных краях, но через две с лишним тысячи лет и у потомков великого Учителя.

Стоит перевозданная тишина, будто время двинулось вспять – к

славным первоправителям Яо и Шуню, в золотой век, о котором мечтал Конфуций и куда он ныне отправился. Завораживающе шелестит ветер в соснах. Чуть слышно напевают птицы. Безмятежно журчит ручей. У каждого свой голос, но вместе они складываются в единство, созвучное множество. Не к такой ли гармонии звал Учитель?



大成至聖文宣王

Его идеалом был благородный муж. Но и простолюдина, маленького человечка, он не отталкивал. Благородный муж, вспомнил Цыгун наставление Конфуция, испытывает неприязнь лишь к тем, кто дурно отзывается о людях и не соблюдает норм ритуала. Из пары дорожных попутчиков, не раз слышали ученики от наставника, хотя бы у одного из них есть чему поучиться. А разве лишь благородные мужи встречаются в пути? К тем, кто находится внизу, следует относиться с любовью и доверием. И не сближаться с корыстолюбивой чиновной мелочью. «Когда судьбой страны вертят мелкие чиновники, – дословно вспомнил Цыгун, – достаточно трех поколений, чтобы пал престол».

Но это лучник, промахнувшись, не оглядывается на окружающих в поисках виновного, а смотрит на собственную дрогнувшую руку. Тиран же, презревший ритуал, будет, как раз наперекор совету Конфуция, делать другим вовсе не то, чего не желал бы самому себе. Скажем, налоги поднимет сверх меры. По этому поводу Ю Жо, один из умнейших учеников, точно выразился: «Когда у народа нет достатка, как может быть достаток у правителя?».

Не воспитав людей, не обучив ратному искусству, бросают их в бой. А ведь Учитель предупреждал: «Послать на войну неподготовленных людей – значит потерять их».

Где же человеколюбие, которое сильнее огня и воды?! В огне человек сгорает, в воде тонет, и лишь человеколюбие

хранит его. Ведет по правильному пути. Так учил Наставник...

Не у этой ли речки он задумчиво произнес: «Все течет, как эта вода. Время тоже не останавливается»? Тут он похоронил сына. И сам возжелал лечь рядом. Время не останавливается, но оно повторяется в неудержимых циклах. Так вечный поток год за годом уносит к востоку опадающие лепестки слив и персиков.

Сливы и персики... С недавних пор это стало означать не только ветвистые деревья и их сочные плоды, но и учеников, почтительно окружающих наставника, – зреющие плоды его учения. У Конфуция учеников было несметно – семь десятков лишь самых преданных, а за жизнь его мудрые уроки впитало, верно, тысячи три.

Не все, к сожалению, смогли приехать отдать последний долг сыновней почтительности. Именно сыновней. Конфуций был для них больше, чем просто наставником, и даже не только Учителем. Вернувшись с траурной церемонии, они все поставили деревянную табличку с его именем в родовые алтари, чтобы приносить к табличке жертвы, поминать в молитвах Учителя в ряду своих предков.

Триста человек собралось. Как раз то самое количество, какое приличествует на похоронах большого человека. И два каната, чтобы тянуть повозку с гробом. Больше не положено. Высоких царских сановников провожают пятьсот человек, самого правителя – тысяча. И канатов у них четыре и

пять. Таков ритуал. А ритуал, как известно, это стержень общества, лицо человеколюбия.

Может быть, Учитель и не одобрил бы этой пышности. Строг был к себе. Не раз напоминал: «Церемония должна быть умеренной». Сына хоронил в одном только внутреннем гробу, простом, ничем не украшенном. Не то чтобы денег на внешний не хватило. Доступен был ему и лакированный, из тунгового дерева. Но в древности, напоминал Учитель, умерших помещали в простые глиняные кувшины.

Когда небесная душа Учителя простилась с земной, не сразу покидающей тело, его обмыли, обрядили в привычную для него одежду – тот самый знаменитый халат с обрезанными рукавами, который он одевал на уроки. Гроб, головой к северу, поставили в западной части дома. Там место не хозяина, а гостя – душе умершего осталось недолго гостить в собственном доме.

Конечно, формально ритуал требовал особых похоронных одеяний. Для властителей их делали даже из яшмовых пластин. Ах, если бы можно было обрядить Учителя в такой величественный наряд! Но люди не поймут, они не знают Учителя, только Небу ведом он истинный. Найдется ли в мире даже благородный муж, что в состоянии услышать музыку его души?

Ничтожным может оказаться даже правитель, Сын Неба, сидящий на троне лицом к югу. Такому не понравится, когда ему выскажут в глаза: «Если правление отходит от риту-

ала, престол не прочен. Больным назову я государство, в котором испорчены нравы народа. Наказания тут не помогут». Воспитание – да, наказание – нет. Когда они направлялись в царство Вэй, вспомнил Цыгун, Жань Ю спросил Учителя, какой должна быть власть в стране. Сначала дать народу разбогатеть, ответил тот, а после этого – воспитать.

Узрев порочность сегодняшних властителей, которые должны были бы воплощать в себе Законы Неба, но отвернулись от ритуала, Конфуций с грустью бросил: «Я не хочу больше говорить». Тогда Цыгун встревожился: «Если Учитель не будет говорить, то что мы, его ученики, станем записывать для потомков?» – «Разве Небо вещает нам что-либо? – парировал Учитель. – А жизнь на земле продолжается, и сезон сменяет сезон».

Да, поняли ученики, само присутствие Неба приводит в действие законы естества, и само присутствие Учителя приводит в действие законы морали. Как низко пал бы мир, не будь в нем Учителя!

С Тайшань, священной горы, где лишь царям дозволено приносить жертвы Небу, прилетел прохладный еще в эту пору ветер. Что-то встрепенулось внутри Цыгуна, будто он почувал аромат древности, куда ушел Учитель. Он вновь услышал его слова: «В старину Поднебесная принадлежала всем, люди были дружелюбны и преданны, избирали способных и мудрых правителей. Поэтому родными человеку были не только его родственники, детьми – не только собственные

дети».

Такое ощущение, словно Учитель рядом. Не земная душа в брэнном теле под невысоким холмиком, а небесная, благодарная ученику за сыновние почести.

Но как же иначе? Родители нянчат ребенка, и детям положено блюсти траур по родителям, соорудить шалаш у могилы, чтобы провести там печальные годы, не прикасаясь ни к изысканной пище, ни к ароматному вину, ни к соблазнительным красоткам.

А кому сейчас соблюсти ритуал, как не Цыгуну? Да, Конфуций ему не отец родной. И сам Цыгун не верховный правитель, кому разрешены три года траура, не царский вельможа, кому на это отпущен год. Но Боюй, непочтительный сын Конфуция, опередил отца, лежит вон там, неподалеку, под шепот сосен и кипарисов, высаженных Учителем. И Янь Юань, самый способный ученик, каких больше нет, – и он умер, и быстрый умом Цылу.

У одинокой могилы в шалаше остался одинокий, верный, скорбящий Цыгун, чтобы трехгодичным трауром отдать Учителю сыновние почести. Два белых матерчатых опахала, которые несли в похоронной процессии, торчат из могильного холма, слабо шевелясь на ветру.

«Только совершенномудрый, – признался как-то Учитель Янь Юаню, – способен смириться с безвестностью и не испытывать сожалений, живя вдали от мира. Не огорчайся, если не занял высокого поста; огорчайся, если способности

твои посту не соответствуют». Потому что совершенномуудрый понимает: «Низкий человек блеснет – и погаснет. А благородного мужа замечают не сразу – лишь по прошествии времени». Сосна и кипарис не меняют своих нарядов с наступлением зимы. Тяжела ноша благородного мужа – любовь к людям, и долог его путь, оборвет который лишь смерть.

Благородный муж останется благородным и среди варваров, убеждал он учеников, и само его присутствие непременно облагородит варваров.

Учитель вернулся на Западное небо. Ушел к предкам. Но древность живет среди нас, вместе с нами идет к потомкам, овладевая поколением за поколением. Впереди десять тысяч поколений, которым предстоит познать Учителя. А может ли низкий человек остаться низким, если рядом Учитель?!

Значит, не следует благородному мужу отворачиваться от правителя, даже если тот утратил человеколюбие и презрел ритуал?

Цыгун взял остывшую похлебку из грубого зерна и поел, не ощущая вкуса...



# **Аромат высочайшей любви**

## **Сеанс трансцендентно-кармического погружения в Высочайшее Бытие Великого Императора Сюаньцзуна и его незабвенной наложницы Ян Гуйфэй**

Любовь возвышает душу. Бессмертная любовь дарует бессмертие. Душе. А тело? Тело предается земле. Уходит в землю. Смешивается с землей. Становится землей...

Из города Сиань мы выехали ранним декабрьским утром, когда почва после легкого, в три-пять градусов, ночного морозца была подернута сединой инея, а пятна снега на крышах терпеливо дожидались обещанных дневных девяти-десяти градусов тепла и ослепительного солнца на голубом небе. От начинающей отогреваться земли поднимался туман и рваными клочьями исчезал в небесах. В его разрывах по обочинам дороги то тут, то там пробивались сиротливо оголенные деревья, навеки пропыленные ветви устало-зеленых лиственниц и пальм, словно лишенные стволов, замазанных

белой краской тумана. Впереди идущих машин не видно, и лишь встречные зажженные фары или задние огни медленно блуждали по шоссе.

Когда часам к десяти утра остатки разорванного тумана окончательно бежали от яростных лучей всепобеждающего солнца, мы обнаружили себя на той самой «желтой земле» лессового плато, что считается колыбелью китайской цивилизации: диковатое пыльное пространство, замершее в веках. Его «жизнь» – в глубинных пластах земли, начиненных следами ушедших столетий и тысячелетий.

Но еще и в нас, потомках, не забывающих о них и приезжающих в места, подобные этому, для того, чтобы не прервалась связь времен и поколений. Окрест Сианя энергетическое поле прошлого настолько сильно, что порой притягивает к себе, не отпускает, втягивает в себя, и ты на миг словно переселяешься в какой-нибудь восьмой век. Только на миг, казалось, но миг этот цепок, двоится, троится, удлиняется в некую мистическую бесконечность, и ты уходишь ощущениями из двадцатого века...

...Наступил десятый месяц двадцать восьмого года *Кайюань*. Много позже люди назовут это 740-м годом, одной из десятков, сотен, тысяч вех бесконечной и равнозначимой цепи летосчисления. Но император Сюаньцзун, за 28 лет до того во славу Империи провозглашенный Сыном Неба, снизошедшим на престол династии Тан великого Китая – Срединного Царства, прозревал бесконечные дали своего могуще-

ственного, блистательного правления, открывающего новую эпоху в бессмертной китайской истории. Он так и обозначил его в девизе своего правления – *Кайюань*, что означает «Открытие Эпохи».



Лао-цзы. Скульптура эпохи Тан

Нет-нет, не подумайте, будто он надменно отвернулся от предков и его «новая эпоха» предаст забвению заветы Конфуция и Лао-цзы. Не зря же он взял себе имя Сюань – некий мистический знак черного, не поглощающего свет, а рождающего его, небесный знак, знак таинственных сил, властителем коих был Лао-цзы, великий Первопредок, прозванный *Сюаньюань хуанди*, Повелитель тьмы: он вложил в души потомков осознание причастности к тайному, способности к постижению непостижимого...

А кто же я? Турист двадцатого века, который в кроссовках, припорошенных чуть красноватой лессовой пылью, бороздит взбудораженный Китай, приподнимающий тяжелые веки от многовековой дремы, – или усталый солдат при мече и копье, сопровождающий разукрашенный паланкин с крытым верхом и спущенными занавесками? В нем со всеми почестями и предосторожностями несут к Сыну Неба очередную наложницу. Несут по этой самой, перегруженной памятью тысячелетий, пропыленной дороге, которую через множество веков заасфальтируют, но разве это скроет нетленную пыль времени, и она все так же будет окутывать, только уже не повозки да паланкины, а автомобили да автобусы, несущие и туристов, и районных работяг, преобразующих усталые древние места в технологически современный Китай...

Наступил десятый месяц. Не октябрь, ибо лишь в двадца-

том столетии Китай перейдет на солнечный календарь, а за двенадцать веков до этого его год мерился лунными месяцами и начинался то с конца января, а то и с февраля или даже марта. И хотя Западная имперская столица Чанъань, Вечный покой, раскинувшаяся в центральном Китае, много южнее Лояна – Восточной столицы, не знала северных морозов, но зимний иней к утру сковывал осколки зеркал ночного дождя на зябкой почве, и сырая влажность, приносящая не только ломоту костям, но и тревогу мыслям, гнала расслабленный покой из бескрайних залов державных дворцов...

Император, как делал это ежегодно, повторяя привычки предков, закрепленные в череде веков, оставил свою блистательную столичную резиденцию и отбыл в Лишань – термальный курорт в сорока с лишним *ли* (около двадцати километров) к востоку от Чанъани.



Высокий островерхий холм, поросший лесом, обвивали прогулочные дорожки, тянущиеся от одной беседки к другой, где утомленный прогулкой властелин мог предаться безмятежному отдохновению в окружении почтительно отдалившихся слуг и, восстановив силы, двинуться дальше – вверх к вершине, а чаще вниз, где горячие источники, бывшие из благословенных недр, были введены в иерархическую систему купален походного дворца для императора и его высших слуг, облеченных милостью сопровождать властелина.

Влажное тепло создавало микроклимат этого удивительного места, над которым постоянно висел легкий туман испарений, формируя мистическую ауру. По бесчисленным залам и галереям, заполненным немолчным плеском воды, гулял ветерок, прогреваясь земным теплом, доносимым источниками, и порой императору с удивлением приходило в голову, что тот никому не подвластен, и, кажется, единственный, кто не подчиняется его повелениям.

На этом рубеже осени и зимы императору было как-то не по себе. Вельможи, как всегда, переламаывали поясницы, падали на колени, готовые воскликнуть «да!» или редко, крайне редко, опасливо выдавить из себя «нет». К его услугам в шести дворцах двух столиц были три первых жены, девять вторых, двадцать семь третьих и восемьдесят одна четвертая, а тьму наложниц в трех тысячах двор-

цов по всей стране не могли точно сосчитать даже особые служители специальной канцелярии, которым не удавалось воспользоваться призрачной привилегией своего поста, приближенного к прекрасным дамам, лучшим в Поднебесной, – по той прозаической причине, что попадали туда лишь после несложной процедуры, лишавшей их мужской си-



А властелину – что ему было до этих тысяч и тысяч престлестниц, многие из которых, прожив в райской роскоши весь краткий век своей земной красоты и ее долгого томительно-го увядания, так и уходили в небытие, не только не прикоснувшись, но даже и не лицезрев Того, на Чей Алтарь положили свои жизни. Но и счастливицам, приглашенным в полумрак спального покоя, – даже им эта священная ночь не гарантировала повторения милостей владыки. Из походных дворцов растекались по стране дети императора, не имевшие права назвать своего отца, как и он чаще всего не знал их. Но этой ли земной юдолюю мог озаботиться Тот, кто вязал собой Вчера и Завтра? Он был Сыном Неба и Отцом всех земных китайцев. По статусу. И этого было довольно для неземного величия.

Еще в пронизывающей зябкости столичного дворца, где глаза пощипывало от обилия жаровен, тщетно пытавшихся согреть бескрайнюю залу, как будто съезжившуюся в испуге перед бесчувственными ночными заморозками, императору вдруг вспомнился его восемнадцатый сын Шоуван. Некогда он любил его. Ну, пожалуй, скорее это можно было назвать милостью, а не любовью. Может быть, любил он его мать У, которую удостоил не самого высокого, но почетного титула Хуэйфэй – Любимой наложницы. Она фактически заменила ему императрицу, которая была бездетна и за то утратила благосклонность владыки, а потом под благовидным предлогом и вовсе лишена сана, растворилась в толпе просто-

людинок и спустя несколько лет умерла. Оборвалась земная жизнь и у Любимой наложницы. Вот уже три года сердце императора оставалось холодным, предоставляя лишь телу возможность осчастливить то ту, то другую деву. С уходом матери испарились и милости для сына, и тот жил своей жизнью в той же столице, но совершенно безразличный отцу... Властелину.

И отнюдь не по зову отцовского чувства Сюаньцун в десятом месяце двадцать восьмого года *Кайюань* вспомнил про Шоувана. Вот уже почти пять лет у того жила наложница из зеленого рода Ян («Тополь») по имени Юйхуань («Яшмовый браслет»), не столь уж и давно начавшая закалывать прическу, как говорили о тех, кто вступил в брачный возраст. Порой на дворцовых церемониях скучающий взгляд императора задерживался на ее прелестях, скромно скрывааемых ритуально сдержанными манерами. Бывало даже, что, приглашая одну из череды на миг приближенных наложниц, Сюаньцун представлял себе, как входит в его опочивальню Яшмовый браслет, драгоценный пион – «царь цветов» – из южной области Шу...

И вот в десятом месяце двадцать восьмого года *Кайюань* Яшмовый браслет была вызвана к императору в походный дворец у термальных источников под горой Лишань. Зачем? Причина была достаточно очевидна. В те поры и в тех кругах ни сам подобный вопрос, ни откровенный ответ на него не звучали нескромно, но отнюдь не по этой причине никто во-

проса и не задал, не осмелился задать. Воля Высочайшего – вот и весь сказ. Не нам же, ничтожным, обсуждать Его волю!

Что же до проблемы отцов и детей... Император, напомню, был Сыном Неба и Отцом всех китайцев. Всех! Но не каждому дано было претендовать на это. Даже подумать страшно. Яшмовый браслет и в мыслях не могла назвать Сюаньцзуна свекром, то есть отцом супруга, а лишь Императором, Властелином, Владыкой. Его повеление – свято. К добру ли, к беде ли – надо ехать.

Яшмовый браслет продумала все: велела подсурмить, изогнуть полумесяцем «брови-бабочки», как обычно восхищенно отзывались о них в стихах и виршах придворные поэты, удлинить веки к вискам, отчего они, не утратив природной хитровой узости, стали походить на яркие плоски, вроде тех, что зовуще посверкивали в Праздник фонарей, наложить на щеки румяные пятна, какие обычно обнимают покатые бока созревшего, источающего соки персика, тщательно уложить прекрасные пышные волосы в немислимую башню, закрепленную золотой шпилькой.

Она долго ломала голову над нарядом. В ее гардеробе было много одежд, призванных возбуждать и услаждать властелина, но, похоже, властелин у нее переменялся, и она, слегка поколебавшись, решительно отвергла желтоватые тона, считавшиеся привилегией императора: что льстило Шовану, хотя и отдаленному от престола, но, несомненно, лелеющему тайные о нем мечты, – то могло показаться слиш-

ком дерзким в более высоком дворце. Отвергла бирюзовый – цвет мистических глубин, откуда в горах философически неслись мерные удары монастырских гонгов. Остановилась было на зеленом – цвете даоского слияния с природой, цвете весны, столь желанной, уже раскрывающей чувства, зовущей в приближающееся знойное лето, так противоположное нынешней зимней сырости.

Другая сочла бы такой выбор прекрасной находкой. Но Яшмовый браслет не была «другой», она, поговаривали, родилась с отметиной на плече, похожей на браслет из яшмы, за что и была наречена таким именем, а яшма – камень таинственных, непостижимых глубин: именно с яшмовыми жезлами спускались к нам небожители или поднималась могущественная свита Властелина водной стихии...

Она почувствовала, что отныне ее временем становится рубеж осени-зимы, и оставила лишь зеленую полоску пояса – так, легкий намек на грядущее неизбежное бурление чувств. Отчего-то ей неудержимо захотелось надеть платье, казавшееся довольно скромным, неброских, словно предутренней дымкой размытых цветов, из ткани достаточно тяжелой, чтобы не порхать легковесно при каждом движении, а наоборот, подчеркивать строгость нравов. Все пространство наряда заполняло искусное шитье в стиле «бамбук меж камней».

Шпильки в прическе она заменила – такие же золотые, конечно, но не из тех вызывающих, что любят танцовщицы вульгарного вкуса, а с небольшими поблескивающими ка-

мушками, в изящной форме птичьего пера – как бы намек на оперенье заоблачной птицы Пэн. А другая – нежный контур горного цветка, раскрывшегося утреннему солнцу.

Она продумала все. А что не додумала, то, наделенная незаурядной интуицией, дочувствовала. Провинциальная девочка из южной области Шу, что лежит в сегодняшней провинции Сычуань, она носила в себе невысказанную жажду высоты. Несметные горы, окружавшие ее с детства, верно, выстроили ее характер из вертикальных линий, которые неостановимо устремляются ввысь, если только не переломит их мощное сотрясение земли. А горы вокруг нее были непростые, одну из них даже знал весь Китай, и поклониться вершине Эмэй, Крутобровой, стекались издалека люди, чьи поступки вела поэзия, волновавшая душу. Вечером, еще засветло, исполненные прекрасных чувств, они поднимались к вершине и коротали там ночь наедине с луной, одной на всех, а на раннем восходе ловили первые лучи просыпающегося дневного светила, еще не яркого, размытого предутренней дымкой – той самой, чей цвет выбрала Яшмовый браслет для своего визитного пла-



Цинь звонкоголосый сжимает монах,  
Пришедший с самой Крутобровой горы.  
И вот для меня зазвучала струна -  
Чу! Шепот сосны в переливах игры.  
Потоками звуков омыта душа,  
Откликнулся колокол издалека.  
Гора погружается в ночь не спеша,  
И, мрак нагнетая, плывут облака<sup>1</sup>.

Не зря эту гору, окруженную ореолом мистического, издавна возлюбили даосы, строили на склонах храмы, соорудили хижины, пропитываясь естественностью Природы, удаляясь от суетного мира, застывшего в ритуальных Правилах. Быть может, предрассветная радуга, когда ее разноцветье еще не высвечено, а чуть заметно, неброско охватывает небосклон, замерший то ли в полусне, то ли в полужизни, – и дала наименование одеяниям отшельников – *нишан* («радужные одежды»)?

Она уехала, не простившись с Шоуваном. Об этом доложат, и государь поймет, как спешила она исполнить высочайшую волю... Шоуван не осудит ее. Сюаньцзун не был для него отцом. То есть родителем, конечно, был, раз сам не отрекался от этого, но не отцом был, а Властелином, Государем, Высочайшим, Сыном Неба, решающим судьбы человеческие.

---

<sup>1</sup> Поэтические переводы в этой книге выполнены С.Торопцевым.

Привыкая к одиночеству (впрочем, недолгому) спальни, Шоуван смотрел в окно на по-зимнему закрытый царский паланкин, плавно покачивавшийся на плечах могучих носильщиков. Перед ними шли глашатаи, разгоняя зазевавшихся прохожих и повозки простолюдинов, за ними – солдаты, призванные защитить Избранницу Высочайшего от любых нападений. Впрочем, кто помыслит о такой дерзости? К тому же о перемещении красавицы в заманчиво высокие сферы еще никому ведомо не было. Но кто точно определит, какими путями и с какой мистической скоростью распространяются слухи, порой опережая само собы-



тие?!

И когда носилки врывались во дворец через огромные трехэтажные ворота, обвитые голубыми и желтыми, сверка-

ющими на солнце, всем являя свое надчеловеческое могущество, резными драконами с выпученными глазами, – уже в ближайшем дворе стояло множество мужчин и женщин. Невозможно сказать, что они смотрели на прибывающую фаворитку, – так низко они согнулись в почтительном поклоне, устремив лица долу, и Яшмовый браслет не увидела ни одной пары глаз, ни одного взгляда, с откровенным любопытством направленного на нее.

А любопытства не могло не быть. Более того, все, несомненно, были встревожены, крайне встревожены. Смена фаворита влечет за собой лавинообразную смену obsługi, от самых приближенных до самых удаленных, лишение почестей, привилегий, того уровня комфорта и достатка, к чему они уже привыкли.

Из какого-то окна, скрывшись за занавеской, с таким же, конечно, любопытством и еще большей тревогой смотрела на роковое приближение паланкина Мэйфэй, Слива, нынешняя главная наложница императора. Ее положение еще так недавно казалось довольно прочным. Дарованную Небом красоту она расцветила образованием, писала стихи, развлекала властелина такими придумками, как состязание в приготовлении чая.

Не случайно государь выбрал ей такое имя – он очень любил дикую сливу, не приносящую плодов, но дерзко распахивающую разноцветные маленькие цветки на голых, еще не выпустивших ни одного листка ветках, торчащих в северном

Китае из снежных заносов.

Ветви *мэй* над водой, на снегу лепестки.

Потускнела краса в зеркалах рядом с яркой весной.

Белой тучкой мелькнув, не развеяла греза тоски.

И луна – в пол-окна среди глади ночной.

В городском дворце государь повелел высадить несколько кустарников сливы-*мэй* вокруг беседки, над которой собственноручно набросал изящно витые иероглифы «Беседка сливы-*мэй*»...

Но ей уже не было двадцать два, как Яшмовому браслету, и прелести ее, рано, как слива *мэй* над снежной белизной, расцветшие в зарождающихся весенних чувствах, уже начали чуть заметно увядать. Что-то несет ей надвигающийся на ее судьбу разукрашенный паланкин?

Конечно, она уже *фэй* – официальная наложница, обладающая определенными правами и привилегиями, а приближающаяся девочка – пока лишь мгновенная прихоть властелина... Но что значат эти правила брэнного мира, когда за спиной затворились врата и паланкин вплыл в мир, где властвовал лишь один закон – воля государя?! И кому ведома протяженность в земном мире мгновения, на котором остановилась воля государя!

От соседнего пруда несло свежестью, быть может, даже избыточной в этот солнечный, но все же зимний день, и что-

то шептали кипарисы и сосны, чей язык был всегда исполнен не смысла, а чувства.

Но сейчас шепот заглушался свистом ветра, и все это казалось Мэйфэй, увядающей сливе, не к добру. Ни специально подобранные семена любви, ни безотказное, как говорили, любовное зелье не помогли вернуть расположение господина. Она стала веером, отброшенным по осени, как назвала себя Бань Цзеюй, которую разлюбил ханьский император Чэн-ди, приблизив к себе Чжао Фэйянь – Порхающую ласточку.

Яшмовый браслет была спокойна. Прямая линия судьбы вела ее к вершине. Лишь когда служанки помогли ей спуститься и, не дав отдохнуть с дороги, ввели в такой тихий и такой обширный, что казался лишенным стен, зал, у женщины слегка закружилась голова. Все, что происходило с ней до этого мгновения, отодвинулось назад, в инобытие. Она словно пересекла таинственную линию жизни и смерти, чтобы возродиться в новом обличье. Никто не заметил этого кармического рубежа, хотя и знали о его существовании, более того, подозревали, что Яшмовый браслет приближается к нему... вот он уже совсем рядом... сейчас она пересечет его...

В другом конце зала, так далеко, что, может быть, это и было уже в другой жизни, стояла группа мужчин. Один выделялся среди прочих – не только одеждой, не только статью зрелого и решительного мужчины, не только седеющей

бородой и даже не только особенным взглядом, по которому было ясно, как высоко он поднимает себя над толпой. Нет, ко всему этому она увидела, или ей показалось, что увидела, некую мистическую ауру вокруг императора. Раньше она это чувствовала, но видеть не могла, потому что на приемах старалась не поднимать глаз, как предписывал риту-



ал.

А сейчас, когда вдруг прошло головокружение, что-то внутри заставило ее поднять глаза и прямо, до неприличия, до дерзости прямо взглянуть на Сына Неба, снизошедшего

до нее, ничтожной. И в этот самый миг, вероятно, она и переступила кармическую черту, завершив предыдущее воплощение и воспрям в новом. Потому что государь, смотревший до того несколько устало-рассеянно, вдруг вздрогнул, и глаза его выплеснули импульс энергии. Шевельнулись губы, будто он захотел что-то сказать, но сдержал себя, оставив звуки для другого раза. То, что этот другой раз настанет, стало ясно всем.

На этом аудиенция закончилась, и служанки увели Яшмовый браслет в предназначенную ей спальню, где она тут же заснула, измученная не столько дорогой, сколько эмоциональным переживанием кармического мига. А вечером объявили, что император пожелал лицезреть красавицу, и ее почтительно провели в юго-западную часть «Высочайшей купальни», отделенную невысокой мраморной перегородкой, позволяющей обозреть весь простор «Высочайшей».

Это была одна из восемнадцати купален Дворца пышности и чистоты, возведенного у Теплых источников. Император частенько пребывал там в возвышенном одиночестве, окутанный легкой дымкой испарений воды, что струилась из белого лотоса, выточенного из яшмы. Уж так завели предки, что никому не позволено было оставаться рядом с Сыном Неба, который покоился на белом яшмовом ложе посреди бассейна, чуть взволнованного высокой милостью, но жестко скованного белыми яшмовыми берегами, украшенными резными драконами, журавлями, рыбами все из той же бе-

лой яшмы.

На самом-то деле бдительные слуги ни на миг не выпускали императора из поля зрения, и не только из соображений безопасности, но более потому, что каждый миг Сына Неба был величествен и подлежал фиксации для назидания потомкам. Не только в бассейне, но и на брачном ложе императору не дано совершить ни одного деяния, коего бы не узрели и не занесли в особые скрижали. Сам же властелин, в зависимости от настроения и парения духа, далеко не всегда замечал прекрасных яшмовых драконов вдоль стен зала или молчаливых слуг, затаившихся в тени. Все это должно было служить ему, оставаясь как бы в ином духовном измерении.

Узкий угол для наложниц также сиял белизной, но саму ванну соорудили из кроваво-красной яшмы, и это было продуманно, потому что красный цвет возбуждает, препятствуя тому полному расслаблению, какое обретал властелин на своем белом ложе. Функционально, сказали бы мы сегодня, ибо ванна императора могла стать и самоцелью, ванна же наложницы должна быть лишь прелюдией.

В примерной служанки суетились до невозможности. Они понимали, что от первого взгляда владыки на плоды их искусства во многом зависели и их судьбы. Долго хлопотали над бровями. Это был не легкий дневной грим, а особый вечерний – «холмики», «уточки-неразлучницы», «жемчужины», «три вершины», «облака» и многое-многое другое, выработанное веками ритуала, воплощающего одну из запове-

дей Конфуция, который на важнейшее после государственных дел место выдвигал четыре ипостаси единого действия – «Питие. Еда. Мужчины. Женщины». Впрочем, это, видимо, человек двадцатого века выставил внутри меня эту иерархичность – «после государственных». В те времена они были много более тесно взаимосвязаны. Ведь государство и семья рассматривались лишь как разные декорации одного спектакля.

Яшмовый браслет не отдалась служанкам на растерзание полностью, а взяла процесс в свои руки и велела вновь обратить особое внимание на сочетание глаз и бровей: глаза должны быть яркими и запоминающимися, брови, сведенные к носу, разить, как острия мечей, а противоположные их концы растворяться в недостижимости висков, как в тумане испарений, как в дымке мечты. На лице, выделенном густым слоем белил, алел суженный до одного штриха, наподобие иероглифа *и* («единица»), рот с тонкими губами, над переносицей, почти в таинственном местоположении «третьего глаза», из-за полога неопостижимого выступала бледнозеленая точка, а ее окружали, словно стараясь поглотить возлюбленного, две рыбины глаз, призывно изогнутые в неподвижности страстного мига. И ямочки на щеках придумала сама Яшмовый браслет: они были сделаны так искусно, что на маске неподвижного лица скрывались – и вдруг обнаруживались при улыб-



Нужно ли было все это? И кому? Самой наложнице, дабы осознала величие приближающегося мига? Или даже психологии тут никакой не было – просто дань вековому ритуалу? Во всяком случае, когда тревожно замершую женщину почетительные служанки провели в обширную залу, полумрак, не рассеивавшийся красными свечами, обычно горящими в комнате новобрачных, казался пустым и холодным.

Но Яшмовый браслет вдруг ощутила, что тишина не пуста, она не одна в этом холодном зале, и не столь уж он холоден. В сердце поднялся жар, когда она поняла, что под пологом необъятной кровати ждет ее Сын Неба. Служанки покинули зал неслышно... Звучал благостный мотив – совсем не слащавый, какими обычно делают свадебные мелодии, безо всяких инструментальных украшений и завитушек, а простой, проникающий в душу мотив. Позже она узнала, что это и была знаменитая мелодия «Радужные одежды, зеленый пояс», поразившая Сюаньцзуна в Лунном дворце, куда однажды занес его сон... Тишина казалась неземной...

Наутро могло случиться всякое, в зависимости от настроения проснувшегося властелина. До отрубания голов наложницам не доходило, и выгнать восвояси уже не могли – кто же допустит, чтобы какой-нибудь червяк из мирской пыли воспользовался тем, к чему прикасался Сын Неба?! Но могли препроводить в один из трех тысяч государевых походных дворцов, где женщине порой доводилось встретиться с проезжающим государем вновь, а чаще она так весь век и

проживала в воспоминаниях.

Яшмовый браслет задержалась на вершине. Наутро государь в знак своей особой милости прислал ей золотые шпильки в золотом ларце. Правда, ей еще не присвоили ранга официальной наложницы со всеми сопутствующими правами участвовать в текущих делах и, главное, в наследовании, но дали имя Тайчжэнь – по названию дворца, который ей определили и который носил имя философского термина, означающего первоматерию мира, а в быту воспринимался как характеристика – «Великая праведница».

Спустя какое-то время в один из фривольных мигов, каких становилось все больше, она с чуть заметной капризцей высказала свое огорчение. А когда, отбывая в Лишань, император не велел ей сопровождать себя, она надула губки: «Вы возьмете других из гарема!» – но вдруг ощутила успокаивающее объятие ласковых рук властелина.

...Весна уже затяжелела надвигающимся летом, и государь соблаговолил выехать вместе со своей возлюбленной фавориткой в загородный дворец Гуанцин, где уже пышно раскрылись пионы – «цари цветов», как именовали их поэты. Возбуждающе красные, ласково розовые, возвышенно белые и даже редкостно синие, особыми усилиями выведенные императорским садовником купы вздымали волны ответного чувства.

Разомлевшая красавица томно переводила взор с цветочного ковра на площадку, где ее любимая танцовщи-

ца Чжан Юнчжун вдохновенной пластикой движений пыталась передать узор весеннего разноцветья. Яшмовый браслет вдруг дала легкий знак служанке, и та поднесла ей бумагу и оправленную в золото кисть, изпод которой полились острые, как горные вершины Шу, иероглифы, складываясь в стихотворные строки – поэтическое впечатление высочайшей возлюбленной от тан-



«Осени», оказавшейся в строке вместо распалившей престлестницу весны, никто не удивился – это был знак высшей похвалы. Сам Сюаньцзун выразил свое восхищение и принялся подыгрывать на свирели и нараспев читать за стихами стихи, время от времени делая паузы, чтобы и Яшмовый браслет не осталась безучастной.

Она была так хороша, что стихи даже самых известных поэтов слабели перед этой, как говорили издревле, «сокрушающей царства» красотой. И тогда государь повелел призвать в Беседку ароматов придворного академика Ли Бо, дабы новыми, доселе не слыханными поэтами живописать то необыкновенно возвышенное чувство, что овладело повелителем в сей сладостный миг.

Летописцы передают, будто Ли Бо был хмелен и его с трудом привели в чувство. Так ли это? Возвышенные стихи рождаются не трезвым умом, а уж что лежит в истоках божественного озарения, не нам, смертным, судить.

Чары ли царственной девы, краса ли весенних цветов, импульс ли неземной души вызвали нужный отклик, но поэт, не задумываясь, симпровизировал три строфы на мотив давней любовной песни «Чистые, ровные мелодии», восхитив властителя и его даму:

Твой лик – цветок, а платье – облака,  
Росой омыта красота цветка.  
На Яшмов пик, Нефритовый балкон

Спешит к тебе луна издалека.

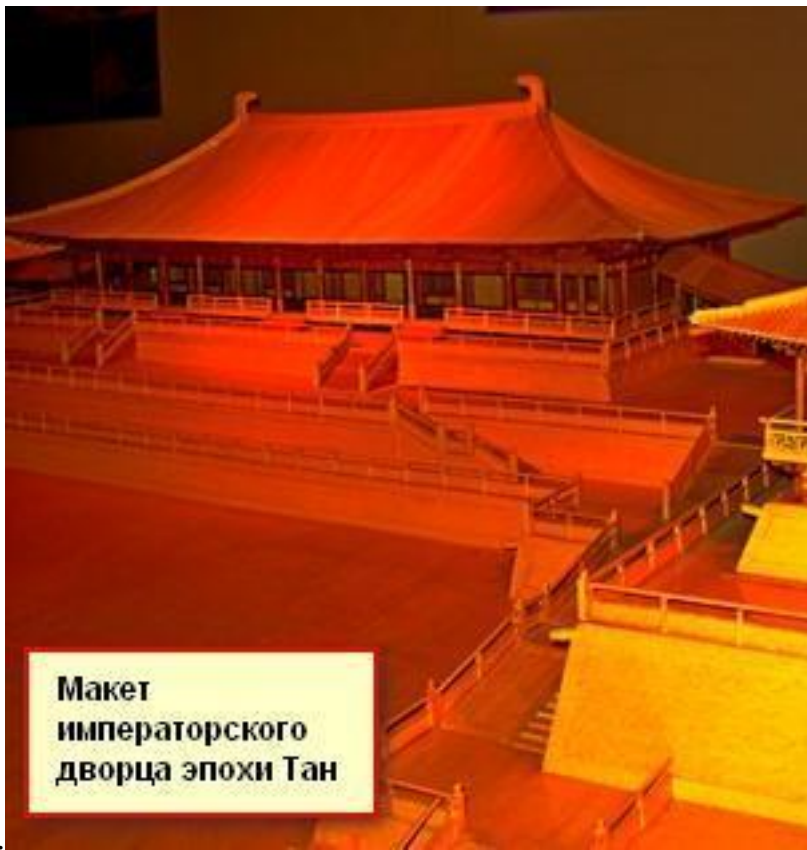
«Сокрушающая царства» неотразимая красавица, пион, омытый благодатной, точно императорские милости, росой, развеяли грезы о недостижимых волшебных феях и нарумяненных древних чаровницах, поблекших перед чистыми прелестями Яшмового браслета: вот как поняли слушатели поэтическую импровизацию.

С тех пор фаворитку стали почтительно именовать *фэйцзюнь* («госпожа наложница»), хотя это еще не было иерархическим рангом, так что ее свиданиям с государем официальный статус пока не придавался, и под высочайшей кроватью евнух с регистрационной книгой не появлялся – возможное зачатие у Яшмового браслета пока не влекло за собой прав наследования. Но сама она осмелилась на такую дерзкую вольность, как назвать императора «третьим господином», как было принято лишь внутри семьи, и исполнить перед ним несколько фривольный танец «натягивание лука», где для свободы движений требовалось чуть подобрать длинные полы одежды.

Ее предшественницу Мэйфэй уже отселили из главных покоев. Сюаньцзун сжалился, и увядшей Сливе предоставили дворец Шанъян, где собирались наложницы, утратившие благосклонность властелина. Яшмовый браслет лишней раз убедила в его земном человеческом благородстве, а не только небесном величии. Но позже, когда кидани на окра-

ине империи подняли восстание и усмирять их решили традиционным способом – породниться верховными домами, именно на Мэйфэй дружно указали ближние советники, еще недавно ломавшие перед ней поясицы.

На следующий год Сюаньцзун повелел сменить девиз своего правления. Страна отныне стала жить в эпохе *Тяньбао*(«Небесная Драгоценность»). Тут и теряться в догадках нужды не было – всем сразу стало ясно, зачем это сделано и что означает. Предшествовавшее «Открытие Эпохи» принесло столь пышные плоды, что Небо даровало своему Сыну великую Драгоценность, сверкание коей бросит новый благодатный свет на все бытие Поднебес-



**Макет  
императорского  
дворца эпохи Тан**

ной.

К наступлению нового года и новой эпохи государь с новой фавориткой вернулись в старую Западную столицу и вместе изволили любоваться красочными, самых разных форм фонарями, специально подготовившимися к этому празднику. Как описывал поэт, *«деревья-фонари сверкают тьмой*

огней, / Как будто бы цветы пылают меж ветвей». Не только во дворце, но на каждой улице, в каждом переулке, у ворот каждого дома были развешены фонари – бумажные фигурки со свечой внутри, и казалось, вся огромная столица этим уходящим к горизонту мерцанием приветствует наступление новой эры, дарование Небесной Драгоценности.

Сама Драгоценность, уже всеми понимаемая именно так, но официально не имевшая еще этого имени-ранга, в сопровождении нескольких служанок покинула свой дворец Тайчжэнь и вышла на улицы, предусмотрительно, правда, спрятав лицо под маской. В людской толчее ей в конце концов пришлось сесть в сопровождавший паланкин и лишь в самом центре, торопливо миновав «веселый» квартал Синьчанли, покинуть его. На нее никто не обращал внимания – в этом кипящем котле ликования все были равны. Но на одной улице ей повстречался высокий советник, а на другой она столкнулась с Мэйфэй – маской к маске. Веселый смех погас у той на губах, и, отвернув лицо, она бросила: «Свинья!» Казалось, что это всего лишь карнавальная игра, но обе фаворитки и их ближайшее окружение понимали тяжелый смысл происходящего. Одна эпоха не может сменить другую бескровно.

Ну, что ж, всему приходит свое время. Близился час и Яшмового браслета обрести свое родовое имя высоким титулом. В ближайшем императорском окружении были наложницы *фэй* четырех главных категорий – *гуй* («Драгоценная»), *дэ* («Добродетельная»), *шу* («Высоконравственная»),

сянь («Достойная»), а под ними – еще двадцати семи менее значимых. Названия этих рангов, каждое из которых имело не только свое иерархическое место, но и свой смысл, обрисовывая в совокупности то идеальное существо, каковому только и надлежало находиться близ Сына Неба, в действительности не значили ничего иного, кроме как степень внимания императора, от чего, как тепло от жаровни, распространялась почтительность подданных, мгновенно охлаждавшихся, как только фаворитку от «жаровни» отодвинут.

Ее час настал лишь на четвертом году эпохи *Тяньбао*.

– Это величайший год для госпожи наложницы, – почтительно согнулся перед ней высокий министр, – Вы покидаете дворец Тайчжэнь, переезжаете во внутренние покои и по всем ритуалам становитесь официальной наложницей.

В седьмом месяце, на исходе знойного лета, когда осенняя утренняя прохлада уже начинала напоминать о приближающемся сезоне термальных вод в Лишань, в саду Фениксов дворца Великого просветления был оглашен Высочайший указ о возведении Яшмового браслета в ранг государственной Драгоценной наложницы (*Гуйфэй*), и с этим именем – Ян Гуйфэй – она и вошла в историю навеки.

После оглашения указа Яшмовый браслет... покорнейше прошу простить мою оговорку – уже Драгоценная наложница, Ян Гуйфэй, – с полным осознанием своего права заняла высокое сиденье, инкрустированное драгоценными камнями, и гордо принимала почтительные поздравления. За-

тем они с государем удалились в спальный покой, где звучала любимая государева мелодия «Радужные одежды», и это стало первой ночью, о которой можно было сказать, что новая фаворитка не по минутной прихоти, а официально, полноправно разделила ложе с императором, что и зафиксировал внимательный регистратор под кроватью.

Еще через четыре года, на той же седьмой луне, в ее седьмой день, когда вся Поднебесная трепетно вглядывается в небо, где весь год отлученные друг от друга Пастух и Ткачиха вот-вот должны слиться в любовном порыве, Сюаньцун и Ян Гуйфэй тихим, никаким регистраторам не слышным шопотом поклялись друг другу в вечной любви – на земле и в небесах.

Возможно, по этой-то причине все и произошло так, как произошло впоследствии. Поэты и меценаты чаще всего не самым лучшим образом управляют с государственными делами, так что вновь на окраинах угрожающе зашевелились варвары. Наместник Ань Лушань, этот жирный дикарь, громче всех хлопавший императорской наложнице, когда та с изящными извивами исполняла танцы родной южной области Шу, влезший в доверие своей нелепой просьбой к Ян Гуйфэй считаться – в его-то годы! – ее сыном, – поднял свою варварскую орду против законной власти, занял обе столицы, Восточную и Западную, и сам возгласил себя «Властителем Девяти областей». Конечно, в его обвинениях было немало правды, страна погрязла в коррупции, чиновники

брали совсем уж беззастенчиво, разоряя и народ, и казну... Двести тысяч диких степняков мятежного наместника были силой, с которой пришлось считаться.

Все семейство Ян, вознесенное с приходом фаворитки, было отдано на заклятие. Слезы, застывшие туманный взор гуманиста, не помешали императору согласиться на вечное прощание с любимой наложницей. Запинаясь, с трудом выдвливая из себя слова, первый министр вместе с изящным шелковым шнурком, коим надлежало туго обвить лилейную шейку, передал ей скорбную волю императора: «Драгоценная наложница... ни в чем не виновна... Кто посмеет... обвинить ее!... Но министр Ян уже убит... А как еще умиротворить их?...»

Лето уже завершалось, и мелкий дождик напоминал о приближении холодных сезонов. Но на сей раз горячие источники Лишань обволакивали своим туманным теплом пустые купальни.

Ей было тридцать восемь. Последние пятнадцать прожила она в высшем почете, комфорте, любви. «Ладно!» – удовлетворенно бросил мятежный генерал, увидев ее мертвое тело. Душа Драгоценной наложницы, как писал поэт, унеслась дальше райских кущ, в самую обитель блаженных – Пэнлай. Перед волшебником-даосом, посетившим ее там, пред-

стала она в изящном пурпурном пла-  
тье с золотыми лотосами в воло-  
сах. В сопровождении священного Фе-  
никса вышла из чертога, на высо-  
ких вратах коего было начертано «Дво-  
рец Великой праведницы». И передала  
нам, смертным, грустное стихотворное вос-  
поминание о своем земном фина-



Бренное тело похоронили на холме Мавэй в окрестностях Лишань, где пятнадцать лет нежились в любви Ян Гуйфэй и Сын Неба, и всю недолгую оставшуюся земную жизнь Сюаньцзун оплакивал свою оборвавшуюся любовь.

... Чуть в отдалении от императорских курганов, как бы не желая в своем посмертном уединении смешиваться с дворцовой суетой прошлого и настоящего, внутри двора, обнесенная стеной и огражденная павильоном дворцового типа, до сих пор таится могила Ян Гуйфэй – каменная полусфера с простой серой стелой, по которой сверху вниз плавно ниспадают семь иероглифов – «Могила танской Драгоценной наложницы из семьи Ян».

У круглого входа-отверстия в стене робко замерли пять тоненьких кипарисов, исполняя роль традиционного экрана от нечистой силы, которая, как известно, не может произвольно менять направление своего движения, и потому-то углы крыш китайского дома обычно загнуты вверх, а на самой оконечности дремлет колокольчик: черти съедут по крыше и, повторяя контур изогнутого угла, унесутся обратно в небо, а колокольчик чуть слышно усмехнется над их тщетными попытками омрачить жизнь хозяина дворца.

На окружающих могилу каменных стелах выбиты стихи замечательных поэтов прошлого – Ли Шаньиня, Лю Юйси, Бо Цзюйи, воспевающие Драгоценную наложницу. Тоненько плачут на ветру колокольчики. Или бесовское это наваждение? В необычайной красоте всегда есть что-то мистическое.

Ты спросила, вернусь ли. Ну, что мне ответить? Прости. Ночью пруд на Башань заливают дожди. Подожди... Может, нам суждено у свечи на закатном окне вспоминать эту осень, Башань и ночные дожди.

Эта серая каменная полусфера, огражденная белым мрамором с округлыми столбиками по всему периметру, – будто космический корабль, инопланетный гость. Или машина времени, возвращающая нас в неумирающее прошлое – «вчера» живет в тебе, а ты живешь в «завтра». И все это дополняется неиссякающим ароматом, что источает благовонная земля, упокоившая эту женщину фантастической красоты. Мистическая легенда гласит, что окрестные крестьяне принялись растаскивать чудесное благовоние по домам, от чего могила, первоначально не одетая камнем, стала таять, уменьшаться в размерах, грозя сровняться с поверхностью земли, и вот тогда-то ее и решили накрыть «космическим» колпаком, но аромат просачивается и сквозь камень, насыщая воздух двора и медленно растекаясь по окрестностям.

Или впрямь это дух высокой любви, нисходящий в наш бранный мир из вечных небесных чертогов, где прекрасная Ян Гуйфэй исполнена печальных воспоминаний о трагически прервавшейся земной жизни и любви?

...А неподалеку от благовонной могилы в ларьках висят – на потребу жадным до экзотики туристам двадцатого века

– красные шелковые шнуры, точь-в-точь такие же, как тот, что высочайшим повелением обвил лилейную шейку...



# Возвращение к Великой Белизне



# **Притча о том, как опальный придворный академик Ли Бо был вознесен Белым Драконом из земной тьмы в ослепительные бездны Неба**

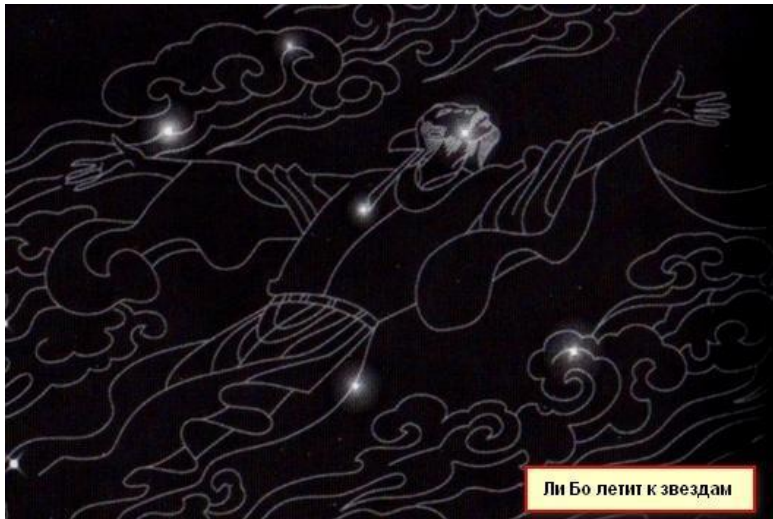
Белая цапля сиротливой снежинкой опустилась на стылую воду осеннего озера. Ей было так же одиноко и неудобно, как и старому поэту, который, всем телом ощущая необычную слабость, кряхтя, вылез из повозки. Не оборачиваясь, махнул вознице – не жди, вот-вот барабаны оборвут предвечернюю суету, в Данту закроют ворота, и придется тебе на всю ночь засесть в какой-нибудь харчевне под осыпающейся земляной стеной, где дрянное мутноватое винцо даже подогреть не удосужатся, каждые два часа прислушиваясь к колотушкам страж, пока монахи из ближайшего монастыря на всю округу не возвестят, какая нынче погода, а под гром утренних барабанов стражники не распахнут городские ворота.

Сумерки тем временем все решительней стирали черты дневной благодати, оставляя лишь главное, по их, сумеркам, понятиям. Вот уже и нахохлившейся цапли не видно. А для поэта главное – мелкое, чуть заметное, но вызывающее отзвук в душе. Глаза поэту не так уж и важны, он иными способами видит мир. Но стихи у Ли Бо ночами не писались, хотя был он, в сущности, человеком ночи и небо ночи, уходящее

в бездонные глубины, притягивало его, а узоры неба, даже дневные, тем более звездные, как бы накрывающие его куполом, вызывали в нем необъяснимый трепет, волнение, трудно выразимое даже для него, чья кисть отличалась необыкновенной легкостью.

Он любил следить бег облаков: из Цинь в Чу, в далекое родное Шу, где в Лотосовом посаде области Мянью прожил два десятка лет, в приграничный Западный край, где родился, и еще дальше, в такие дали, каким и названий в земном языке не сыщешь. Нет для облаков никаких препятствий, неторопливы и величавы они в родной стихии, не останавливаясь, минуют вершины Тайбо, Эмэй, отроги Тяньшаня, смыкающиеся с небом, и плывут, плывут в неведомое.

Как-то на вершине Тайбо – Великой Белизны, куда карабкался весь светлый день до последних лучей заходящего солнца, он увидел их совсем рядом, и ему вдруг показалось, что земля осталась не просто внизу, а – позади, и его путь простирается в те бездны, куда зовут облака и ветер.



Ли Бо летит к звездам

Покоряю до лучей заката  
Пик Великой Белизны крутой.  
И звезда Тайбо мне тоже рада,  
Отворяет небо предо мной.  
Унеси меня, прохладный ветер,  
В бездну легковейных облаков —  
Длань воздев, взлечу я в лунном свете  
Позади оставив цепь хребтов.

Это стихотворение он написал в первом году *Тяньбао*, только что появившись в имперской столице с самыми радужными, воистину грандиозными планами. Ему претила

мирская суета, которая в годы, проведенные в горных обителях даосов, и не затронула его, но он жаждал, как учил Конфуций, высокого служения и вознамерился покорить крутой «пик Великой Белизны» государевой службы, оставив «за спиной» недвижные горы, мирно дремлющие под мерными ударами монастырского колокола.

С тех пор минуло два десятка лет. Не был он понят, не пришелся ко двору. Да он уж и не тот, Великую Белизну понимает и воспринимает по-другому. Его сегодняшнее «возвращение» – иное, чем в ту пору жарких устремлений.



Дух звезды Тайбе

Быть может, звезды зовут нас? Есть среди них одна, ее, как и гору, величают Тайбо – Великая Белизна, и это же имя дали самому Ли Бо в детстве – Тайбо из рода Ли. Говорят, матери приснилась эта самая Великая Белизна. А как приснилась, не сказали. Как-то по-особенному, наверное, потому что предутреннюю звезду Тайбо может увидеть каждый, если поднимется до ранних барабанов, отворяющих городские ворота.

Писать о звездах ему хотелось постоянно. Но он не всегда отваживался выразить на бумаге охватывавшее его ощущение, будто он, отделяясь от земли, врастает в огромное небо и касается рукой звезды. Однажды только он осознал, чем вызывается этот страх. Проведя ночь в даосском храме на высокой горе среди облаков, обволакивавших его и манящих за собой, Ли Бо обнаружил, что всю ночь разговаривал шепотом. Это он-то, громогласный кутила, вымахавший в целых семь *чи* ростом, всегда опоясанный острым мечом из синьчжоуской стали и готовый оседлать любого свирепого тигра! А тут вдруг явственно ощутил близость обитателей звезд, и какой-то голос, внутри ли, снаружи, сказал ему, что не пришло еще время звать к ним. Он так и описал свои чувства в стихотворении:

Ночью в храме на горе крутой  
Звезд касаюсь поднятой рукой.

Страшно небожителей встревожить,  
Приглушаю громкий голос свой.

Перечитал, и ему захотелось, чтобы никто не увидел этих сокровенных мыслей. Надо было бы порвать бумагу, да написал-то он не на бумаге, а на стене храма.

У берега, куда привез его возница, стояла лодка – расписная, узорчатая, с крышей на столбах ближе к корме, никаких этих современных новшеств вроде стульев, с которых того и гляди свалишься, особенно в подпитии, к борту прислоненно, правда, складное «варварское сиденье», но это так, для фасона, куда удобней сидеть на циновках, подогнув под себя ноги и упираясь коленями в пол. Коли овладеет тобой телесная слабость, подложи под локоть подушку или опустишь на фарфоровое изголовье с магнитным стержнем, успокаивающим и расслабляющим.

– Ну, давай, – махнул Ли Бо угрюмому лодочнику, и тот скупыми движениями кормового весла направил лодку в одномерную темноту озера, куда-то туда, где ежилась от осеннего холода белая цапля. Цепляясь за чуть вздернутые уголки крыши, низко склоненные ивы пытались удержать лодку, остановить ее движение во тьму, да не удалось, и тогда они, точно почувствовав важность события, плеснули с листьев вечернюю росу вслед удаляющемуся поэту, как обычно поступали те, кто хотел в торжественный миг выразить свое почтение юбиляру, – выливали из кубка вино по направле-

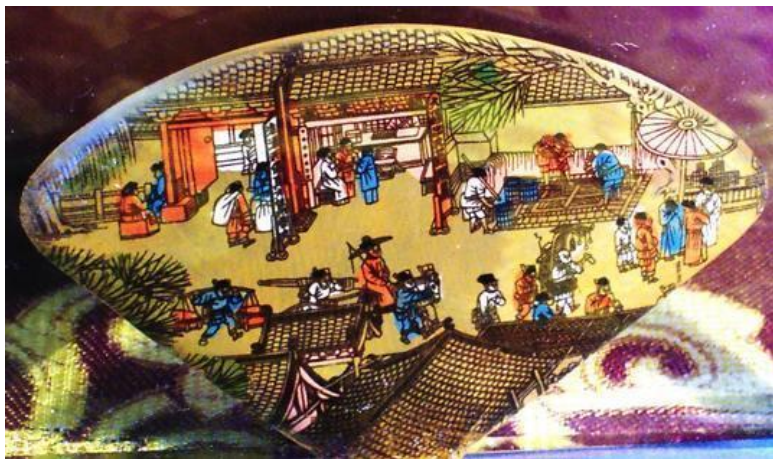
нию к нему.

Три-четыре гребка, и деревья, ограда пристани, ажурные беседки вдоль линии берега слились в одну темную пластину – занавес, отгородивший от Ли Бо весь пройденный земной цикл: пять раз по двенадцать, шестьдесят лет, оставшиеся позади со всеми их тяготами дорог, мишурой столичных дворцов, чуткой тишиной леса на горном склоне, плавно раскачиваемой задумчивыми ударами храмового колокола.



Зачем больной, измотанный возвратным из ссылки путем, отправился он на это озеро? Кому ведомо?! Родич отговаривал, пугая всяческими земными опасностями. Но что ему земное?! Он не сказал дядюшке про странный сон.

Был ему сон намедни. Белый сон. Ли Бо любил белый цвет, но понемногу, мазками, вроде этой белой цапли, что спустилась на темную воду, а тут во весь сон – ослепительный свет, Великая Белизна, столь противоположная мистической тьме, коей сейчас поклоняются на земле. Он не нашел слов, чтобы выразить это словами, он лишь почувствовал, что это – его.



И тут еще эта настырная ворожея на улице. Синяя юбка,

белая кофта – он хорошо запомнил сочетание красок: белый взрыв в синеве дневных небес. Нет чтобы, солидно сгорбившись, воссесть перед столиком с зеркалом или гадательными костями, – она глянула на него и, что-то узрев в чертах лица, как зачарованная, двинулась за ним по улице, будто не было там других богатых клиентов, проникновенным шопотом, еще даже и не потребовав оплаты услуг, предупреждая: «Тела твоего не вижу, исчезает оно, и на западе ждет тебя ослепительное сияние и встреча с могучим небесным духом».

Пряные ароматы насыщали воздух над озером. Ли Бо много путешествовал в жизни, всякого навиделся, слышался, нанюхался, но в дивных благовониях, необычных для этих мест и этого времени, не различил ничего знакомого... Или, может быть, нечто очень и очень далекое, из какой-то иной жизни, смутное.

Но пора уже, кажется, подкрепиться. В лодке для этого все было приготовлено. Дядюшка постарался, велел заранее доставить корзину со снедью.

Конечно, ничего жирного и острого – и болезнь не позволяет, и Будда не велит. Сырая крошенная рыба, «варварские» лепешки из рисовой и пшеничной муки, таблетки чая, которые еще надо было растереть и смешать с имбирем, а потом сварить в котле на жаровне, установленной в углу. Какие-то сосуды – возможно, дядюшка велел приготовить ослабевшему Ли Бо рисовый отвар и кислое молоко, чтобы восстано-

вить иссякающие силы.

Да еще торчит из корзины кувшин, верно, с добрым ланьлинским. В вине – много радости и силы. «Настоящий человек идет под водой и не захлебывается», – говорил Чжуан-цзы. Он явно хмельного «настоящего человека» имел в виду. Душа, омытая вином, обретает цельность и законченность, как кусок зеленой, с прожилками, яшмы.

Я похож на птицу куропатку:

К югу улетаю без оглядки.

Тошно станет – выпьем мы с Ханьяном,

Под луною нам тепло и сладко.

Правда, сейчас он ближе к западу, чем к югу. Душа уже непрочно держится в земном теле.

Ли Бо не ждал увидеть в корзине тонкие чарки из носорожьей кости или круглое блюдо из кровавой яшмы. Повидал всего этого на своем веку. Но серые чашки юэчжоуского фарфора – совсем неплохо. Отвечая колебаниям плывущей лодки, они позванивали, как яшма, исполненная скорби. В них бы «Весны» плеснуть, что когда-то Цзи из Сюаньчэна готовил. Да нет уж и «Весны», и старого винокура, он давно уже не здесь, а у Желтых истоков.



Наш Цзи и у Истоков хочет  
«Весной» наполнить много чаш,  
Да нет Ли Бо еще в той ночи —  
Кому вино свое продашь?

Ну, вот скоро и я там буду, усмехнулся Ли Бо, и появится у тебя покупатель. Долгая жизнь в мире людей приносит только горе.

Не обмыть ли руки, подумал поэт. Этот ритуал, в общем-то, совершают все добродетельные конфуцианцы перед важной церемонией. Но разве что-то предстоит Ли Бо? К тому же он из Шу, а про шусцев шутят, будто их моют лишь дважды: при рождении и после смерти. И все же он зачерпнул забортной воды и задумчиво ополоснул руки. Ах, да, гадалка предсказывала встречу с небесным духом. Вот все и сходится.

Когда сегодня возница катил его к озеру, они проехали сквозь красные ворота, странно поднявшиеся на пустынной сельской дороге. Три проема меж четырех столбов, над ними навес в рост человека, но кто ж поднимается туда? – лестницы-то никакой не видно, а поверху – золоченая надпись: «Врата Дракона». Ничего особенного, он и не обратил на них внимания. А сейчас вспомнил и подивился. По старому преданию, тот, кто пройдет сквозь Врата Дракона, поднимется в иные сферы. Конечно, это не вход в экзаменационный зал и

не специальное ему, Ли Бо, приветствие, сооруженное благодарными почитателями. Никто и не знает, что он в городе. А кто прослышал, старается держаться подальше от него, опального придворного академика. Мало кто знает, что милостью императора он освобожден от ссылки и, не доехав до Елана, повернул обратно в сторону моря, в Цзиньлин. Вот и друг Ду Фу пишет в стихах, что видел во сне Ли Бо, да не ведает – живого или уже покинувшего сей мир. Словно предвидя сегодняшнее путешествие по озеру, Ду Фу с опаской поминает волны над глубинами, где обитает дракон, который может поглотить Ли Бо.



Сам-то Ли Бо, расставаясь с отшельником Яном, возвращавшимся в родные горы, поминал Белого Дракона иначе: *Незыблемый каменный грот / Среди сунских остался высот, / И там на сосне у ручья / Осколок луны тебя ждет.*

Будем с Яном вкушать пурпурный аир, траву бессмертия, и запивать добрым вином, а там, глядь, и подойдет рубеж в десять тысяч лет, когда у мудрецов на теле отрастают шерсть и перья.

Тем временем в небе показалась желтая плошка луны и разлила свой свет по озерной глади, еще слабый, как осен-

ний светлячок. И все же он очертил пологий берег дамбы, уходящей к небольшому островку посреди озера.

А вдруг это тот самый Фусан – то ли остров бессмертия посреди бескрайней воды, то ли уходящее к солнцу дерево-исполин? Он вспомнил о нем в своем последнем стихотворении. Вчера как раз написал его и передал дядюшке – как завещание – вместе со всем своим наследством – стихами, которые всегда возил с собой. Пусть распорядится, как сочтет нужным. А его силы иссякли. Не все же Пэн-Фениксу сотрясать небо и землю!



Взметнулся велий Пэн – о! Содрогнулся всяк.  
С полнеба пал он – ах! Совсем иссякли силы.  
О! Исполать ему! Забыть того нельзя,  
Кто вознесен к Фусану был, где спит Светило...  
Но кто, прознав о том, слезу прольет?!  
Учитель Кун? Уже давно он в бозе почует.

На берегу нахохлилась цапля, поджав для тепла ногу. Островок густо порос бамбуком, и Ли Бо захотелось тут задержаться, ведь духи бамбуковых рощ любят исполнять людские желания. Если, конечно, не спят или не заняты каким-нибудь более важным делом – отлучились в веселый квартал к девицам или расселись за столом с игральными костями.

Он с улыбкой махнул лодочнику, чтобы сушил весло. Правда, иных желаний, кроме как достать кувшинчик с ланьинским, у него не было, а это он всегда умел осуществлять без помощи духов. Лодочник, обрадовавшись передышке, тоже достал себе чашку – из старой тыквы с неровными, обломанными краями.

Ли Бо шагнул к борту и только было распахнул халат, чтобы облегчиться в озеро, как облачка окончательно расступились, полностью открыв круглый диск луны, и с неба выкатилась к лодке дорожка света. Оправляться в сторону луны считалось совершенно недопустимым, и Ли Бо повернулся было к другому борту, как вдруг лунная дорожка вспучилась, в ней что-то плеснуло. Рыбам в это время положено спать, но это явно был карп. «Уж не луна ли шлет мне послание? Зовет к себе?». Он странным образом вспомнил свое старое стихотворение, где светлое пятно у ног взывало к исчезнувшему – или недостижимому? –

Сияние луны простерлось к ложу.  
Иль это иней осени, быть может?  
Наверх взгляну – там ясная луна,  
А вниз – и мнится край, где юность прожил.

Писал он это, конечно, не о себе – на юге, в Шу, где прошла его юность, с инеем и снегом не густо, но в Чанъань тогда приехал какой-то северянин, а была как раз солнечная осенняя «двойная девятка», то есть девятый день девятой луны – праздник единения с близкими, и они поднялись на лесистый холм, разлеглись под ветвями кизила, любуясь дикорастущими маленькими хризантемками, и принялись выуживать из корзин кувшинчик за кувшинчиком, по *доу* на брата, верно, пришлось, вспомнили, как положено в этот день, далеких друзей и родных, а когда очнулись, к ним подобралась луна, навевая грезы об оставленных краях юности – каждому свою грезу. Он и подарил собутыльнику это четверостишие на память о славно проведенном деньке.

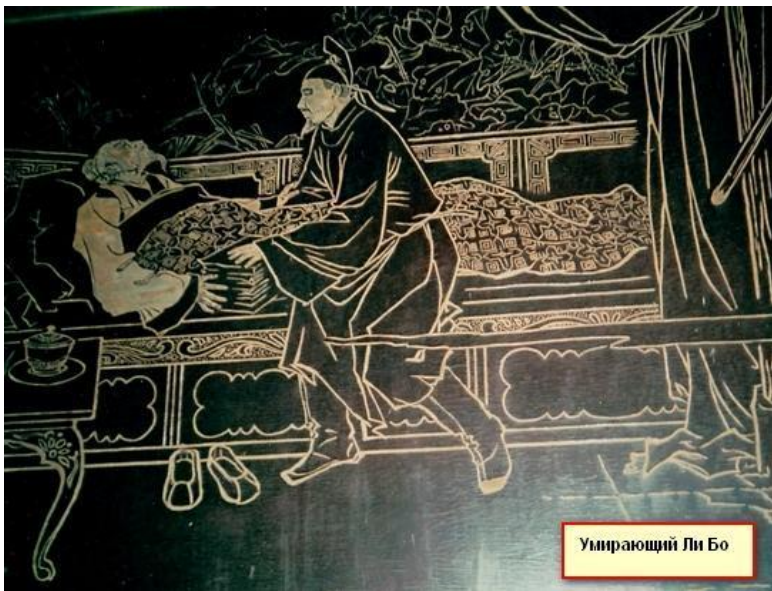
И вот уже иней осени подкрался к нему самому.

В три тысячи *чжанов* – моя седина,  
Она, как тоска, бесконечно длинна,  
На зеркале вод – словно иней осенний...  
Не знаю, откуда явилась она?

А сейчас «краем юности» ему представляется не далекое

Шу, а сама Великая Белизна, какими-то смутными, неясными нитями притянута к нему. В прошлом? В будущем? Отчего? Зачем? Он и сам не знает.

Тьма накрыла все девять областей страны. Разве только во взбунтовавшихся степняках дело? А этот страшный ураган, который унес с собой – уж, конечно, не в сладостную обитель блаженных Пэнлай – несколько кварталов блистательной Западной столицы. Потом – засуха, которая жестоко скручивала листья на деревьях в сухие трубочки, шуршавшие при малейшем дуновенье. И тут же – ливень, но не тот благодатный, что в силах напоить истосковавшуюся землю, а избыточный, непрерывный, шестидесятидневный поток, словно вновь разверзлись в небе дыры, которые латала Ньюва. В общем, не так что-то в этой империи. И не нужен он ей.



Умирающий Ли Бо

Кувшинчик очень скоро подошел к концу, в нем не больше *шэна*. В былые дни Ли Бо для хорошей встряски требовалось *доу* вина – десять *шэнов*. В досаде он с силой хлопнул кулаком по борту, так что лодка вздрогнула, дернулась и сама, без вмешательства лодочника, поплыла потихоньку – прямехонько по лунной дорожке, будто увозила своего пассажира к небесному светилу из окутавшей его тьмы.

Легкий ветерок заигрывал с поверхностью озера, и водная рябь дробила дорожку на прихотливые штрихи света и тени. На такую голову, как у Ли Бо, даже побеленную временем,

все-то *шэн* вина подействовать не мог, но поэт явственно услышал неземной красоты «музыку Шуня». В искусстве звуков он, большой мастер игры на семиструнной *цинь*, знал толк, но такого не слыхивал. Будто сам Небесный владыка наигрывал ему последнюю мелодию земного бытия.

Воздух вокруг него сгустился, как бы очертя круг и оставив за его пределами опустевший кувшин, прикорнувшего лодочника, нахохлившуюся цаплю – все, кроме полосы света. От ног Ли Бо полоса уходила дальше, вверх, к луне, и узоры неба вокруг ночного светила сдвинулись в медленном круговороте, все убыстряя и убыстряя движение. Поначалу казавшиеся очень далекими, они приближались, вовлекая Ли Бо в свой пьянящий танец, и вот уже он тоже сдвинулся с места, шагнул на манящую дорожку и сомнамбулически пошел по направлению к луне.

Две фигуры в радужных одеждах – одна напомнила ему даоса Яна, которого он когда-то провожал в глуби гор (не забыл еще!), – возникли из тьмы инобытия в колеснице из пяти облаков, сопровождаемые Белым Драконом. Они пригласили Ли Бо присоединиться к ним, чудище пошевелило хвостом, раздвигая облака, и помчалось Ли Бо вверх, будто на высокую гору, туда, где торжественно распался, слепя еще земные глаза, невыносимый свет Великой Белизны. Уже через мгновенье глаза привыкли, и Ли Бо последним земным усилием мысли подумал, что он, похоже, не уходит, а возвращается...

Сквозь блаженную полудрему лодочнику показалось, что его пассажир перешагивает через борт, протягивая руки к луне, бело-черными штрихами раздробившейся на поверхности озера, и исчезает. Но воду ничто не возмутило.

Одежда пассажира лежала на дне лодки. Только одежда, без тела. От нее исходил тот самый аромат благовоний, которым еще мгновенье назад был напитан воздух, опять вернувшийся к состоянию привычной осенней ночной сырости. «Познал *Дао*», – пробормотал ошарашенный лодочник про своего пассажира. Он слышал, конечно, что ученые даосы в конце земного пути растворяются в познанном ими *Дао-Пути*, но впервые реально столкнулся с этим явлением.

«А как же его дух? Тела-то нет. Пустой гроб на родину не отвезешь, в могилу не закопаешь. Куда прилетать духу? Без могилы он что же, останется неприкаянным – мертвым, как говорят?! Вот ведь бедняга – прошел земной круг, и что от него осталось?!»



# **Часть 2**

## **Близкое. Рассказы**



# Бамбук

此法極難非積學

久不能也

竹身似屈竹節  
直自淺原極法  
極難垂葉恰如  
錦鱗上天然無  
懈釣魚竿

甲辰仲夏月

陸冕



乾隆己酉

*У этой истории – своя История. Главное, что произошло с моим героем, случилось со мной – я видел Свиток. В 1988 г., в течение почти года проходя научную стажировку в Пекине, я бывал в художественных лавках Люлимана, разговаривал с продавцами и знатоками, особенно часто с одним из них – тихим, скромным юношей. И спустя время завоевал его доверие, он открыл сундучок и развернул широкий, длинный свиток, на котором шелестящие в ветре бамбуки были покрыты болотной желтизной веков. Меня будто током пронзило, и это острое чувство я храню в душе – оно сродни высшему откровению, открытию мира. В моем кошельке не водилось достаточно звонкой монеты, чтобы приобрести такое сокровище. Но я помню каждый изгиб остролистного бамбука.*

Каждое утро спозаранку он спускается со второго этажа вниз, поправляет свитки, висящие на стенах, смахивает пыль с яшмовых львов, достает темнозеленого единорога, которого, запирая вечером лавку, неизменно прячет в ларец темного лака с облезающей серой металлической вязью, но не начинает рабочего дня без того, чтобы не достать фигурку. Не самая ценная, скорее всего, конец Цинов, то есть рубеж девятнадцатого-двадцатого веков, но *цилинь* – «unicorn», как высмотрел он в английском словаре, – приносит удачу.

Он верит в это не только потому, что так сказано в мифах

– «темных суевериях», как с дружным критическим пафосом осуждали на уроках в школе, где он учился уже на излете «культурной революции», или «сокровище народной мудрости», как стали писать в последние годы.

Несколько раз он заметил, что если оставить *цилиня* в ларце, то в этот день непременно случится что-нибудь неприятное, чаще какая-нибудь мелочь, но однажды его любимые бамбуки, отдохновение души, свалились с гвоздя, и после этого он понял, что единорогом пренебрегать нельзя. Как и мифами, старой литературой, порой еще попадающей среди чердачного хлама, случайно избегнув сожжения в бушевавшем пафосе «культурной революции», свитками, брошенными в угол и однажды развернутыми – чтобы стать началом его лавки художественных изделий (сперва, по привычке идеологической осторожности, он назвал ее «Сокровища народных промыслов», а позже – то ли жизнь, меняясь, помогла, то ли сам повзрослел – поменял вывеску на «Нетленное искусство Китая»).



Если взглянуть на этого юношу со стороны – не мельком, как это обычно делают заглядывающие в лавку покупатели, а попристальней, что случилось достаточно редко, – можно было заметить в нем что-то старческое. Не в христианском смысле (мудро-отшельническое), речь-то, напоминаю, идет не о России, а о Китае. Миссионеры там бывали и обращали людей, даже большая община существует, храмы остались. Но старцы христианские до Китая не добирались. Они все больше замыкались в своих кельях. Наш юноша, впрочем,

тоже. И тщедушен, как старец, как рассудительный старичок, сосредоточенный на своих то ли мыслях, то ли болячках.

Дело даже не в шаркающей походке, медленном ритме жизни, по-буддийски плавным, округленным движениям – ведь служки в буддийском монастыре не походят на спотыкающихся старичков, все они физически хорошо развиты и переступают хоть и мелкими шажками, но упруго, как бы ежесекундно готовясь сделать выпад, отразив всегда ожидаемое и никогда не застающее врасплох нападение.

Все дело в глазах – глаза у юноши угасшие. Словно жизнь его не интересует. Я и юношей-то называю его потому только, что не сумел подобрать в русском языке никакого возрастного наименования, что хоть как-то подходило бы к нему. Корень этого слова – в юности, крепости, здоровье. Владимир Даль в этом же синонимичном ряду ставит «молодца», но какой из него «молодец» – при его-то вялости. А будь он помладше, я бы остерегся отнести к нему слово «парень». «Мальчик» еще куда ни шло. Потому что мал он, незаметен в своей молчаливости.

То есть он, конечно, не был механическим манекеном, в английские словари вот заглядывает, одевается аккуратно, не в синюю рабочую робу или зеленый армейский китель, как было заведено с военизированных времен, а в европейский серый – по цвету, несколько вылинявшему, но отнюдь не из-за пыли, – костюмчик, довольно потертый, дань по-

чтенному возрасту, и белую рубашку, застегнутую под горлышко, хотя на галстуки он не осмеливается, но зато воротничок всегда выглядит чистым, и как минимум еще одна сменная рубашка обычно висит на крыше перед окном комнаты, высыхая на ветру.

Правда, и манекен можно одеть, и даже еще лучше, но на новый, а уж тем более шикарный костюм юноше явно недостает доходов, которые приносит лавка, несмотря на раритеты, ярко выделяющиеся среди каждодневной штамповки.

Может, в раритетах-то и дело? Ведь они поначалу создают одни убытки, и довольно значительные, – отыщи, достань (купить-то не в силах, значит, надо выкручиваться, брать под честное слово, и люди должны верить, что честное слово у него – принцип, а не набор звуков), а потом храни этот раритет, дрожи над ним, холь и лелей, зазывай покупателей, рекламируй, чтобы продать, завышай, скрепя сердце, цену, а, случается, уйдет вещь – и такая жалость душу отяжелит...

Нет, не в раритетах дело. Даже при приличных доходах он все равно щеголем не оденется. Не смотрелся бы юноша, я уж не говорю, в модном, но даже в новом костюме. Он сам, как и его одежда, были из прошлого. Ему больше подошел бы длинный халат с боковыми разрезами – *ципао*, какие носили приказчики еще в позапрошлом веке. Штука удобная, просторная, в широких рукавах можно спрятать много денег, и никто не знает, богач ты из вельможного дворца с красными фонарями, что самодовольно лоснятся округлыми бо-

ками из вощенной бумаги, или нищий, подпоясанный дурно пахнущим платком со свалки. В таких халатах и в оперу ходили, щелкали соленые орешки за массивными столами в зале, потягивали крохотными глотками подогретое, чуть желтоватое шаосинское, дожидаясь любимой арии, и тогда начинали подпевать, порой подсказывать текст, а то и топтать ногами, если какой-нибудь начинающий певец, не дотягивая, срывался с ноты.

Да только не был наш юноша ни щеголем, ни меломаном и шаосинского не пил. Правда, опийная трубка, кальян то есть, красовалась у него в лавке, дожидаясь покупателя, какого-нибудь немца пузатого, падкого до пороков, пусть даже лишь намек на оные. Но сам он к ней не прикладывался, как бы жизнь ни тянула забыть все невзгоды, смягчить безжалостные удары, утратить очертания непослушного тела, закачаться волнами моря бескрайнего, этим самым морем и стать и знать не знать про берега, его со всех сторон опоясывающие, для себя самих создавая иллюзию какого-то ограничения стихии, которая, может, только потому и позволяет им «ограничивать», что добра, мягка, нежна, как облако, из этой же стихии и вознесенное и вальяжно раскинувшееся над землей, почти не давая возможности заметить его неторопливое передвижение по небосклону.

Антикварий он, можно сказать, наследственный. Ну, антикварий, вероятно, слишком сильно сказано, собирать-то он собирал, а насчет понимания был слабоват, он ведь и шко-

лы не кончил, а кончил бы, какой от нее прок, школы времен «культурной революции»? И понятие «наследственный» тут, пожалуй, достаточно условно.

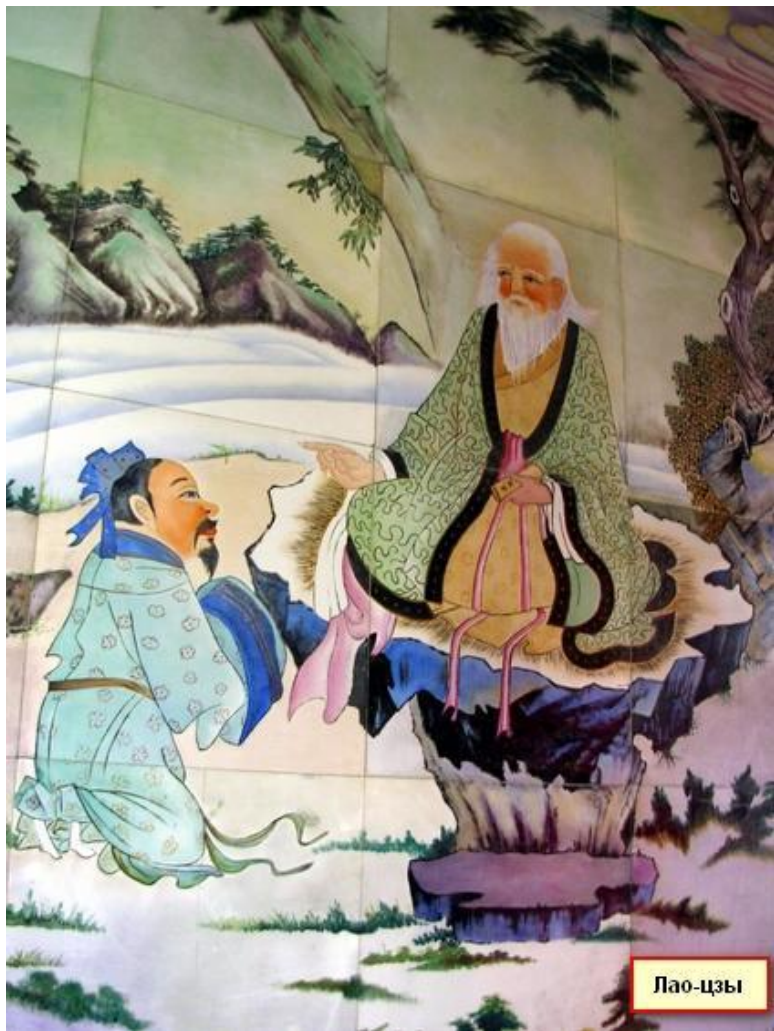


Этой лавкой на Люличане, старинном пекинском рынке художественных изделий, владел отец. Вот тот был настоящим антикварием. У него были вещи и даже Вещи, он знал им толк, имел клиентуру, не шантрапу прохожую, вызывающе позвякивающую тощим, в сущности, кошельком, а таких же, как он сам, знатоков, отличающих Сунов Южных от

Северных, а не только откровенных Танов в соседстве с так непохожими на них Ханями. Ван Вэй у него в раритетах не числился – слишком известен, да и картин не так уж мало сохранилось.

У отца была своя, довольно оригинальная точка зрения, он утверждал, что запечатленное историей, оставшееся в ней и донесенное до наших дней – не лицо времени, а лишь его маска, то, что История хотела нам передать, позволяла нам знать, навязывала нам. Отец же вступал в диалог с Историей, искал приметы времени, нам уже и не известные, и в них разглядывал черты бывшего, но исчезнувшего, пытался впитать давно развеянный аромат.

Была у него, помнится, какая-то полуоблезшая фигурка женщины в колышавшемся от ветра платье, вскинувшей руку к глазам – то ли прикрываясь от солнца, то ли выглядывая мужа, уехавшего за пограничную заставу, как Лао-цзы, где-то кому-то оставившего свой «Дао Дэ цзин», квинтэссенцию истинного духа эпохи, с той поры уже разнесенного ветрами. Отец полагал, что фигурка – из ханьских захоронений, и, вопреки всем мнениям эрудированных приятелей, в складках одежды ему чудились свободные накидки Ближнего Востока. Он как бы провидел в этой фигурке связь времен, земель, народов.



Лао-цзы

Фигурка стояла у него всегда на одной и той же полке, определенным образом повернутая – так, чтобы взор ее, стертый временем, но будто бы видимый отцу, был обращен туда, где чудесным образом в развеявшемся облаке Божьей Славы возникли скрижали моисеевы. Он знал час предрасветной молитвы потомков Моисея, и в этот самый час полуденное солнце в Центральном Китае стояло именно так, чтобы заставить женщину прикрыть глаза от слепящего жара. Солнца ли, Бога?..

Той женщины давно уже нет. Нет, не ушла она за мужем в пустыни Синая. Ее разбили. Вы не поверите. Мне самому трудно поверить. И юноше, тогда еще мальчику, тоже. Не просто столкнули неловким локтем с прилавка, а шмякнули об стену с торжествующим гоготом победителей. Отец окаменел. Не попытался спасти фигурку, не бросился собирать осколки. Слезинки не уронил. Окаменел, как ушел из жизни.

И ушел. Ночью он повесился в лавке, среди обломков терракота, нефрита, агата, черного лака, среди ключев рисовой бумаги с ветвями сосны, что-то нашептавшей ему с пронзающей облака вершины, среди смятых свитков, накликавших ему беду изящно изогнувшимися императорскими наложницами, небесными красавицами Ян Гуйфэй или Ван Чжаоцзюнь, над растоптанными томиками «Сна в красном тереме» о трагически разбитой любовью жизни юных Линь Дайюй и Цзя Баюя, этого «феодалного наследия проклятого про-

шлого».

Утром на душераздирающие крики матери прибежали не соседи – те боялись. Примчались хунвэйбины с красными нарукавными повязками, делающими их в собственных глазах начальниками над всем этим темным сбродом недобитков. Не вчерашние парни, другие. Менялись, видимо, дежурные по этому важному объекту – «рассаднику феодальной культуры», нелегкий труд выпал славным защитникам «самого-самого красного солнца их сердец».

Они не позволили вынуть отца из петли, которую он добротнo привязал к балке потолка. Их логика была несокрушима: повесился – значит, признал свою вину в отравлении народа и не смог вынести тяжести неминуемой расплаты и перевоспитания с помощью сияющих идей Председателя Мао. Пусть висит – в назидание другим.

Бог – уж не знаю, какой, китайское ли Единое *Дао*, давно уже ставший своим Будда или далекие, чужие Адонаи, Христос, Аллах, но явно кто-то из них, а может, просто Бог, один на всех, только называемый в разных местах по-разному, – сжалился, даже не столько над ним, уже ушедшим на запад, сколько над соседями, все еще остающимися на этом страшном, залитом кровью Востоке. Провисев совсем немного, тело рухнуло – веревка оказалась гнилой – на остатки всего того, что он любил, что было неотделимо от его жизни, что было его жизнью.

Ни один эрудит-приятель не пришел: кто-то остерегся, но

большинство, вероятно, уже давно замаливало свои грехи перед народом на каком-нибудь лесоповале или в песчаном карьере, где им оставалось совсем немного потерпеть – и Бог сжалятся над ними тоже, потому что все они были, как и отец, старые и немощные. А каким еще может быть носитель дряхлеющей феодальной культуры?!

Отца даже не похоронили – пришли эти, с красными нарукавными повязками, схватили тело и унесли. Навсегда. И нет над его останками земляного холмика под куцым кустом посреди поля, куда по весне, в День поминовения Цинмин, мог бы придти повзрослевший сын, принести еду повкусней, чтобы хоть после такой страшной смерти отец мог получить удовольствие от миски *хуньдуней*, еще не остывшего *чуньцзюара*, от щедро посыпанной кунжутом лепешки, от сочного яблока, что редко позволял себе при жизни. Чайничек подогретого шаосинского, а еще лучше кувшинчик жгучей *эрготю*... И негде ритуальные деньги сжечь, чтобы дым их растаял в воздухе, может, указав, где бродит неприкаянный дух «признавшего», а на самом деле никогда не смирившегося и не раскаявшегося отца.

Мать устроила поминальный алтарь, не в лавке, которая под бдительным присмотром дежурных защитников «идей Мао Цзэдуна» месяцы и годы стояла не расчищенной от следов борьбы с вредоносными бактериями, даже не в комнате на втором этаже, где они спали и где проходила тихая, ласково-задумчивая, но далеко не самая яркая часть жизни от-

ца, а на чердаке, куда потом снесли все обломки и ключья. Но даже и там алтарь был символическим – фигурку Будды они поставить не решились, потому что хунвэйбины время от времени поднимались даже на чердак, строгим бдительным взором оглядывая помещение, и если бы они увидели божка, их гнев был бы пострашней грома и молнии.

Мать просто положила на комод старую кепку отца. Все остальное – курящиеся свечи, ароматный дымок, блюдо с яствами – оставалось в воображении. Тем более, что и молитву она могла прочесть лишь про себя – удар, нанесенный смертью мужа, лишил ее звуков: не говорила, не слышала. Писать она не умела, так что свои желания ей пришлось свести к минимуму, который можно выразить жестами. Впрочем, какие желания могли еще оставаться у старой вдовы?!

Сын хотел уйти из школы, но ему не позволили, потому что «чесеиров» (уже мало кто помнит у нас это жуткое словечко с кривым оскалом – «член семьи реакционера») надлежало перевоспитывать, что и делали ежедневно. Перевоспитание заключалось, прежде всего, в труде – все, что раньше делали по уборке школы сначала старички-рабочие в на рукавниках и с метлами да лопатами, а потом ребята-дежурные, теперь взвалили на него одного. И приставили к нему двух ретивых хунсябинов – «подростающий отряд хунвэйбинов», смена «революционной смены». Дети есть дети, даже революционные, им быстро надоело шататься без дела, но бросить подопечного не решались, и тогда они принима-

лись развлекать себя придирками к «недобитку», потому что только труд может очистить сознание «феодалного последыша».



А вторая часть перевоспитания была отдана формированию «новых идей» в уже очищенном сознании, для чего ему специально читали «Юйлу» – «Избранные изречения» Мао Цзэдуна, последние редакционные статьи главной партийной газеты «Жэньминь жибао», заставляли зубрить все это наизусть, писать «покаяния» с использованием заученных цитат. Этими ржавыми гвоздями пытались сколотить его мир, как потом заколотили гроб его отца.

Потом с ним произошло, в сущности, то же, что с отцом, – крушение мира. Только в том и разница, что миры разные, мир отца был высок, красочен и светел, мир сына низок, душен, тускл и лишен переливов, вымазанный лишь одним цветом – красным. Выросший среди истинного искусства, он не успел достичь того возрастного рубежа, когда прекрасное, витавшее в лавке, озарит душу, смутно бродившую в предутреннем тумане, и вдохнет в нее жизнь.

Свиток, вертикальный лист бумаги со следами взмахов кисти, которая заново создает то, чем заполнен мир: горы и реки, цветы и камни, мужчины и женщины... – этот свиток содержит сокровенный, тайный смысл, и войти в него, ощутить связь с тобой, стоящим перед ним, не так просто, как вызубрить изо дня в день повторяемые слова о том, что все, что служит народу, революционно, а все, что служит эксплуататорам, реакционно. Где висели и висят такие свитки? В домах богачей и их прислужников. Значит – борьба с ними

до победы! Так учили его школа и улица, и это пересилило молчавшие еще для него свитки на стене лавки.

Но трагедия отца все перевернула. Из борца и победителя юноша стал жертвой и побежденным. Он испытал несправедливость, почувствовал ложь и фальшь звонких лозунгов. И только тогда заговорили уже исчезнувшие из его жизни, но, оказывается, не из памяти свитки. Он стал видеть их внутренним взором. Потерявшие плоть, они вернулись к нему как дух, как смысл. Пустые стены ночного мрака раздвигались до стен маленькой лавчонки отца, увешанных свитками.

Лозунги, от которых он теперь отрекся, несмотря на то, что долбил их ежедневно, когда-то приносили ему ощущение всемогущества разрушителя. Свитки зарождали в нем ощущение всемогущества созидателя. Мысленно он пересекал по горбатым мосткам ручьи, несущие на восток опавшие лепестки цветов – увядших, но готовых через год передать свое цветение другим, карабкался по склонам гор к дальним хижинам, останавливался, пораженный яркой синей птицей, готовой запеть на ветке дерева гингко, слушал немолчный шепот сосны.

И однажды он решился подняться из омертвевшей лавки на чердак, куда сложили все останки «феодалного хлама», сметенного революционным вихрем. Там не осталось ни одной не истерзанной, не разбитой вещи. Юноша осторожно брал их в руки, ощущал тепло камня, проникал в глубину

мастерской линии кисти, которая в своем совершенстве соперничала с Божественным Мироустроителем.

И вдруг он замер.

Из погашенного, казалось, невозстановимого, но лишь приглушенного непомерным временем оранжево-коричневого марева прояснились бамбуки.

Основа, на которую была наклеена картина, порвалась и смялась, но сама картина осталась почти не тронутой. Юноша вспомнил этот свиток. Он был огромен – широкий, длинный, и трудно было найти место повесить его. Может, из-за этого, а может, по какой-то иной, с уходом отца уже и не ясной, причине отец не вешал картину, а держал ее в сундуке, лишь изредка разворачивая для себя или какого-то клиента, в котором признавал если и не знатока, то обладателя природного вкуса. Картина становилась как бы изысканным десертом беседы, проходившей на полутонах и сближавшей их.

Юноша осторожно вытянул свиток из кучи, разгладил. В сумерках бамбуки заговорили, перешептываясь с ветром, который ласково и осторожно, с любовью поглаживавал их чуткие листья, тонко и остро вытянувшиеся вверх, словно они хотели коснуться неба. Не заглушая их, а в каком-то удивительном созвучии с ними вдруг прозвучал гонг отдаленного буддийского храма и застучал мерными ударами по сгущавшимся сумеркам, поглощавшим остатки вечерней зари.

Там, за свитком, обнаружился мир, словно свиток был не плоским, а трехмерным. Это был мир отца, и сын вошел в

него. Слегка удивленный, но не ошеломленный, будто свершилось это не впервые, будто мир был ему знаком, жил в нем в каком-то свернутом состоянии, как переживают оледенение не погубленные им организмы...

Прошли годы, и ледяной панцирь сошел со страны. Сверкнули первые лучи вновь восходящего солнца, но до полного воскрешения оставалось далеко, и я даже не уверен, что и сейчас оно совершилось до конца – до окончательной победы жизни над смертью. Все еще налетает порой шквал, вызывающий озноб, и тогда бамбуки опускают листья от неба к земле, словно прося защиты, и выразительный шепот сменяется тревожным шумом.

Но Люличан стал оживать. Первым ушел красный цвет, всегда любимый китайцами, но после недавних событий начавший наводить на них ужас. Вывеску «Служить народу» – белым по красному, размашистыми, стремительными, словно на боевом марше, иероглифами – сбросили с фронтона лавки. Ее содержимое – гипсовые Мао Цзэдуны да brave солдатики Лэй Фэны – не решились сразу отправить на свалку: а вдруг Оно, та жуть, какую они боялись назвать по имени, еще вернется?! – но их задвинули в почти не видную глубь, и постепенно они все уходили и уходили, налетами возвращались, и вновь уходили, уходили... Кое-где их еще находят, доживающих век, истлевающих, но все еще сопротивляющихся.

Вернулись некоторые из старых приятелей отца, знатоков.

Они пояснили юноше, что свиток этот – старинный, может, даже Сунский, когда бамбуки стали мерилем мастерства художников, значит, ему где-то под, а может, и слегка за тысячу лет. Краски выцвели и потускнели, но духовная сила художника, оживившая его, продолжает волновать и будоражить. И, раз войдя в этот мир, уже не выйдешь из него. Так и останешься в нем, зачарованный. Вот потому-то и держал его отец в сундуке, открывая лишь тогда, когда предстал перед ним человек, достойный Свитка. Негоже такое сокровище пускать по рукам.

Знатки предложили реставрировать картину, но юноша заупрямился – все сделаю сам, и тогда они научили его, как снять картину с основы, подобрать другую, подходящую не только по качеству, но и по колориту, а потом осторожно рыбьим клеем приклеить картину на новую основу.

Все это сотворив, юноша повесил было свиток на стену, но тот – знаменье! – упал, и тогда он нашел подходящий сундук – отцов-то был раскрошен топором победителя-разрушителя – и сокрыл туда свиток, словно от нескромного любопытства отгородил дух отца, дух художника и свой обновляющийся дух.

Он возобновил отцово дело. Это, конечно, не тот знаток, каким был отец, но вечерами, закрыв лавку, он достает свиток с бамбуками, и они беседуют допоздна. Мерно звучит гонг буддийского храма, и душа отца шаг за шагом подбирается к омертвевшему сыну, чтобы войти в него и оживить.



До сих пор юноша никому не показывает свитка. Сам он все еще напоминает старичка, и движения у него безжизненны, и глаза его мертвы. Даже когда он поднимается на второй этаж, в спальню, где среди жертвоприношений стоит яшмовый Будда, и зовет отлетевшую душу отца...

## Старое кресло

Памяти мудрого, доброго человека, замечательного режиссера театра и кино Хуан Цзолия, ушедшего от нас 1 июня 1994 г. на 89 году жизни, – посвящается этот рассказ, в котором автор правдивые факты бытия сдобрил толикой правдоподобного вымысла.



Кресло, массивное и тяжелое, предназначалось для больших и грузных людей и, прекрасно осознавая это, переживало, когда его добротные пружины испытывали недостаточно

кондиционные пришельцы. Часто в него любили забираться внуки, сворачиваясь калачиком, но им, только им, кресло со стариковской снисходительной добротой прощало это. И недовольно скрипело, когда его занимали несколько субтильные зятья и даже дочери, которым, согласно генетическим законам, было отпущено достаточно плоти, но все же не столько, сколько их отцу, деду их сыновей.

Именно он был Хозяином кресла. Не то, чтобы к спинке прикрепили номерок, как в театральном зале, или повесили табличку, как обычно делают на премьерах, отводя почетным гостям специальные ряды. Но все знали, что кресло, даже когда пустует, ждет Деда. И так к этому привыкли, что немедленно освобождали его при появлении Деда. Без Деда оно выглядело одиноким, осиротевшим, тоскующим, морщинистым, хотя снаружи его прикрывал такой же светлобежевый чехол, как стулья, окружавшие большой стол под светлобежевой скатертью, торцом приткнувшийся к камину, чьи серые мраморные плитки облицовки смотрелись почти в том же колорите, что чехол на кресле.

Без Деда каждый предмет играл лишь свою мелодию. Первые аккорды симфонии начинали звучать лишь с его появлением. Хотя сам он отнюдь не стремился к дирижерской палочке. Но она как бы постоянно находилась в его руке, готовая к начальному взмаху. Кресло молодело и расправляло складки на чехле. Мраморные плитки камина покрывались розовыми бликами волнения, вспоминая когда-то частые, а

сейчас все более редкие бдения у извивающегося пламени. Камин в последние годы разжигали редко. Это давалось с трудом, словно он сопротивлялся.

Быть может, камину стало больно разгораться после того, как грубые хунвэйбины побросали туда огромную шекспировскую библиотеку Деда, которого они обозвали «агентом буржуазии», «прислужником американского империализма». Дед в привычной для него чуть снисходительной манере интеллигента и преподавателя попытался объяснить парням, что Шекспир – отнюдь не американец, еще даже не буржуа и вообще великое достояние человечества, но это их только разозлило, потому что они не знали большего достояния человечества, чем «Цитатник» Мао Цзэдуна в красной дермантиновой обложке, вульгарно сверкающий позолотой названия. Увы, все раритеты, которые Дед вывез из двух своих учебных поездок в Кэмбридж и Лондон, чтобы потом, как он надеялся, освещать их светом оставшуюся жизнь, были сожжены в прекрасном викторианском камине, так напоминавшем ему добрую старую Англию.

Жизнь оказалась крепче раритетов, она все-таки удержалась, не развалилась, как ни добивались этого грубые молодчики. А старому креслу вообще необычайно повезло, когда один из разгулявшихся хунвэйбинов, опьяненный вседозволенностью, со всего размаха плюхнулся в него, утверждая тем самым (иных способов у него не было в арсенале) свое верховенство. Креслу стало противно, у него даже появилась

совершенно непристойная мысль запустить в наглеца одну из своих добротных пружин, и трудно себе представить, что бы с ним, креслом, стало после такого «контрреволюционного выпада». Оно грустно, одиноко, растерянно простояло несколько лет в пустом доме, из которого «за буржуазные излишества» выселили хозяина, и все же дождалось его.

О, Небо, сколько пыли пришлось выбивать из старого кресла, в то время еще не прикрытого чехлом! Его так и не удалось полностью очистить от вьевшегося, как дешевый табак, духа хунвэйбиновщины, и потому на него набросили чехол, как сам хозяин нередко набрасывал светлосерое пальто на плечи, прогуливаясь вдоль Темзы, заполняющей лондонский воздух влажностью. Сравнение, конечно, не совсем корректно, и потому он никогда не развил его в художественный образ, но оно нередко приходило Деду в голову, когда он, уже утратив легкость молодости, грузно опускался в кресло, покрытое светлобежевым чехлом, и набрасывал на плечи такую же светлобежевую, с большими накладными карманами пуховку, потому что в большой комнате этого большого дома было довольно прохладно зимой, несмотря на электрические каминь, функционально заменившие мраморный, который остался лишь как символ, как напоминание об ушедшем былом.

Ушедшем? Кресло прекрасно все помнило и ясно понимало, что и Дед ничего не забыл, а все, что произошло с ним и его народом, аккуратно, как в архиве, разложил по полоч-

кам памяти – хранилищу бесценных для будущего воспоминаний о прошлом. О детстве, о юности, когда отец, желая приспособить сына к своему бизнесу, отправил его учиться искусству коммерции в Лондон, а сын, к стыду и огорчению степенного отца, пренебрег солидной профессией и увлекся другим искусством – театра, сначала любительского, а затем и профессионального, да настолько, что сам великий Бернард Шоу в 1926 году набросал юному китайскому театралу мудрое пожелание «не быть вторичным, создавать свой собственный стиль», поскольку «представитель школы Ибсена – не Ибсен, Ибсен же, хоть и не является представителем школы Ибсена, но это – Ибсен».

Конечно, ему не позволили выдержать единого стиля всей жизни, поскольку были периоды, и не краткие, когда приходилось делать не совсем то, что он считал нужным и правильным. Тогда он, как кресло, тоже набрасывал на себя чехол, но разглаживать складки, чтобы казаться довольным, ему не всегда удавалось. Ведь Шекспир научил его видеть реального Человека со всеми его морщинками, не покидающими даже блистательного Героя, изрекающего звучные лозунги, не замечая, что сам он безвкусно загримирован и из-под парика течет краска. Сам Дед старался оставаться, елико возможно, реальным и естественным.

Хозяина кресло дождалось. Но жизнь сильно потрепала его и научила снисходительности и терпению. Оно спокойно стояло в углу комнаты, поглядывая в окно, за которым

на лужайке резвились внуки. Дед порой выходил к ним поиграть, развеяться. Но большей частью сидел в кабинете над книгой или рукописью. После «культурной революции» дом наполнила печаль. Верная спутница Деда яркая актриса Даныни уже не могла шагать в ногу с ним ни по тропе искусства, ни по тропе семейного счастья. Она почти не покидала своей комнаты на втором этаже рядом с его кабинетом, где он работал, постоянно ощущая ее беззвучное и болезненное соседство. Он как бы нес в себе некую вину перед ней – за ее ослабевшее сознание, не выдержавшее грубого напора революционных декораций. То есть личной вины его в том не было, но он как истый интеллигент ощущал ее – за преступления других, кого он не остановил, ибо был бессилён, за кровь невинных миллионов.

Этой кровью был рожден «Макбет». Инсценировка в жанре *кунцюй* называлась «Кровавые руки». Не диво поставить Шекспира, на этом изощряли свой талант не одно поколение режиссеров. Но обрмить эту ренессансную трагедию формами близкого и понятного китайскому зрителю застывшего средневекового отечественного театра, еще не познавшего Человека, и выплавить современное гуманистическое действо, этот призыв к Братству, к Любви, к Доброте – такое дано было не каждому! И он сотворил это чудо!

Старое кресло согревалось бродившими в Деде замыслами. Оно даже возмечтало принять участие в постановке, но, к его великому сожалению, по своей конструкции тридцатых

годов никак не смогло вписаться в средневековый антураж. Может, оно и к лучшему. Театр плохо отапливался, актеры и режиссер репетировали в теплых пуховых куртках, а разве тонкий светлобежевый чехол спас бы кресло от старческих ревматических болей? И оно осталось на первом этаже дедова дома...

Вот уже пять лет не греют его бурные творческие замыслы Деда. Замер старый дом, оживляясь лишь по воскресеньям, когда вся большая дедова семья, как и встарь, собирается за большим, покрытым светлобежевой скатертью столом, что стоит торцом к камину, и вспоминает Деда, и каждый рассказывает о своих творческих замыслах – а все они люди искусства, режиссеры и операторы, художники и музыканты, – и старое кресло, стоящее рядом, так что ему слышно каждое слово, разглаживает складки, и на какие-то мгновенья ему кажется, что сам Дед примял его тяжестью своего большого и грузного тела.

И это не галлюцинация старого кресла. Потому что Дед, в сущности, не ушел от нас. Он остался в нас – как режиссер, как теоретик театра, как дед, как отец, как Человек. Остался в зрителях, коллегах, детях, внуках, друзьях. Остался в памяти старого кресла. И не покинет нас никогда....

Я бывал в этом доме, стоял возле кресла, пригнувшись к сидевшему в нем хозяину, и ощущал волны благожелательности, омывавшие меня. И хочу надеяться, что, когда я вновь появлюсь в этом доме, а он к тому времени уже станет, вне

всякого сомнения, мемориальным, старое кресло признает во мне давнего и верного друга и не испустит ворчливого скрипа, когда я благоговейно погружусь в его старые пружины.

И мы с ним вместе вспомним мудрого и доброго Деда, любившего людей, преклонявшегося перед высшим созданием – Человеком и в своем удивительном творчестве соединившего Восток и Запад в созвучное, гармоничное единство.

# Смерть под деревом



Его привез грузовой велорикша. Грубый деревянный по-

мост прыгал по кочкам проселочной дороги, рикша, старик из местных крестьян, нервничал, притормаживал, постоянно замедлял ход, останавливался, чтобы взглянуть на больного, может, тростниковую накидку поправить, но конвоир – безусый парень в зеленой армейской робе с красной повязкой хунвэйбина – резко покрикивал на рикшу и велел двигаться дальше, не обращая внимания на больного.

Рикша понимал, что ведет себя неправильно и может навлечь большие неприятности и на себя, и на свою семью. Но что он мог с собой поделать? Он не читал так много изречений из «Цитатника» Председателя Мао и поэтому не был так, как этот каменный парень, тверд в борьбе с врагами революции. Ему было жалко этого больного, которого он хорошо знал – передвижные бригады до культурной революции не раз привозили фильмы с его участием.

Потом уже другие бригады стали привозить другие фильмы, и этот актер больше не появлялся на экране. Передавали, что он контрреволюционер, и поэтому нынешнюю жалостливость рикши можно квалифицировать как буржуазный гуманизм или даже пособничество врагу революции.

Лучше не раздражать хунвэйбина, а то доложит по начальству, и рикша загремит. Сам-то он не боялся. Ну, пошлют на перевоспитание, так не в город же, этот рассадник буржуазной заразы, а в деревню, на землю, которую он полжизни копал, засевал, обрабатывал, жал, пока ревматические старческие косточки не заставили сменить работу. Крутить педали

тоже не просто, но боль приходит только при дожде, в сырости, а так вполне терпимо. Придется, правда, много выслушивать всяких наставлений да лекций, но терпения крестьянину не занимать. Слава Небу, он неграмотный, так что читать «Цитатник» или редакционные статьи «Жэньминь жибао» не заставят. Так что бояться ему нечего. Но вот на старухе отыграться могут или сына в городе найдут, к нему прицепятся. Так что лучше помолчать.



Реж. Цай Чушэн, погибший  
в "культурную революцию"

Актер, а звали его Цай Шэн, хотя рикша этого не знал, ведь титры-то он, неграмотный, прочитать не мог, он даже

не понял, что во время культурной революции все фамилии из титров исчезли – это была борьба с этим, как его, эгоизмом, – так этот бедный актер и сам уже своего имени не помнит. Он был слишком плох, болезнь зашла так далеко, что пришлось под расписку изъять его из коровника, где жили все эти контрреволюционные гниды, и, тратя так необходимые революции средства, силы, время – а он по своей собачьей сущности даже не оценит такого послабления в борьбе, – повезти его в уездную больницу. А зачем? Лечить, что ли, его там будут? Тратить на него нужные народу лекарства?! Подохнуть в коровнике даже сподручнее. Собаке собачья смерть.

Но так распорядилось начальство. Конвоир своими глазами видел большую бумагу, которая долго ходила вверх с докладом о болезни контрреволюционера Цай Шэна, виновного в том, что еще в буржуазном Китае до 1949 года снимался в антинародных фильмах и продолжил вредительскую деятельность, не признав в должной мере своих преступлений перед партией и Председателем Мао. Потом бумага вернулась к ним обратно, испещренная резолюциями разных больших начальников, которые в итоге разрешили отвезти его в уездную больницу, чтобы революционно подкованные врачи квалифицированно решили, что с ним делать и нужно ли что-нибудь делать.

У наглухо закрытых ворот больницы рикша остановился, и конвоир скрылся за ними со своей бумагой. Парень бы-

ло заколебался, можно ли оставить контрреволюционера без наблюдения, но затем решил, что операция была проведена в полной секретности, сообщники не могли узнать о перемещении поганца, так что вряд ли они спланировали похищение, а сам поганец настолько слаб, что никаких контрреволюционных действий совершить не в силах, разве что умрет, не повинившись перед народом, но это он мог бы сделать и в присутствии конвоира, однако до сих пор не сделал. И парень ушел внутрь больницы.

Рикша, полуповернув голову, взглянул на актера. Бледное, как маска отрицательного персонажа в традиционном театре, лицо, обтянутые скулы, закрытые глаза во ввалившихся орбитах, треснувшие губы, которые актер время от времени неестественно медленно облизывал сухим, покрытым белым налетом языком. Рикша незаметно повел глазами туда-сюда, слез с велосипеда, достал свою тыкву-горлянку с водой и как бы невзначай приставил ко рту актера. Но тот или уже не воспринимал реальности, или не имел сил даже на глоток, и тогда рикша намочил тряпицу и выжал ее на жаждущие губы. Они зашевелились, словно в знак благодарности. Во всяком случае, это было признаком жизни и каким-то слабым контактом между рикшей и актером.

Вернулся конвоир, уже без бумаги. «Велено сгрузить и положить перед воротами, пока они не решат, что с ним делать». Рикша постарался остаться невозмутимым, но внутренне содрогнулся. Он, конечно, понимал, что есть револю-

ционные законы, не допускающие жалости к классовым врагам, но в его старом и, видимо, слишком размягчившемся сердце такие законы как-то не помещались. Что-то было в них бесчеловечное, и не мог старик заставить себя даже классового врага, но больного, слабого, беспомощного – не считать человеком, как по дороге проповедовал конвоир внушенные ему идеи.

– Хватай за плечи, – скомандовал хунвэйбин, беря актера за ноги, – снимай с повозки, клади.

– Как, прямо на землю? Дождь прошел, земля сырая.

– Что, хуже ему будет? – ухмыльнулся парень. – Даже приятно на травке полежать. Ну, ты вот что, – вдруг огрызнулся он, вспомнив о своих высоких полномочиях по переделке всей страны и всего народа, – делай, что говорят, и не вставай поперек революционного закона. Твои сомнения – буржуазный абстрактный гуманизм. Председатель Мао учит: «Мы должны очистить наши ряды от всякой мягкотелости и беспомощности». Тебе следует искоренять свои ошибочные взгляды.

В последней фразе прозвучала такая угроза, что рикша покорно взял актера за плечи и опустил на землю. Совсем еще мокрая после дождя трава холодом прошла по рукам. Рикша взглянул на искаженное болью лицо актера – и вдруг решился на невероятной смелости поступок: сорвал с повозки тростниковую накидку и подложил ее под бессильное тело больного. Хунвэйбин дернулся было отреагировать на та-

кой диверсионный акт, но рикшу спасла отворившаяся калитка. Вышел главный врач.

– Руководство, поддержанное коллективом, приняло решение проявить революционный гуманизм и, невзирая на контрреволюционное прошлое Цай Шэна, обследовать его болезнь. Ты можешь ехать.

– Помочь вам внести его в палату? – влез было в разговор рикша, но его обдали высокомерным холодом.

– Контрреволюционер не может быть помещен в больницу, в которой проходят лечение представители революционных бедняков и низших середняков. Мы перенесем его во двор под дерево и там проведем походное обследование.

Рикша смолчал, хотя сообразил, что формально тоже принадлежит к высшему классу бедняков. Но решения принимают лишь горластые. И они с конвоиром, сдавшим свои полномочия представителю больницы, поехали прочь. За их спинами закрипели ворота, послышался сдавленный стон – актера, наверное, поволокли во двор. В окнах то тут, то там появились головы – слух о таинственном пациенте распространился мгновенно. Кино в деревне все эти годы было единственным доступным развлечением, и актера все узнали. Но молчали. Потому что он был не на экране, а в жизни. А в жизни он уже не был актером, любимцем зрителей, он был антинародным элементом. И все молча смотрели на этого контрреволюционера, которого сразил гнев революционных масс.

Актер долго лежал под деревом в забытьи. Ночью кто-то подложил под него одеяло и укрыл еще одним сверху, потому что, хотя июль все уже высушил и вернулась привычная жара, больного бил озноб. Потом еще не раз, так же ночами, кто-нибудь из персонала или пациентов сторожко приближался к актеру и смачивал ему губы водой, пытался кормить, но тот уже не мог есть.

Посоветовавшись, руководство через несколько дней выделило врача для осмотра. Это был так называемый «босоногий врач» – крестьянин, по причине своей природной идеологической чистоты намеченный для замены буржуазной интеллигенции и направленный на краткосрочные фельдшерские курсы, после которых его стали именовать врачом. Еще не до конца разогнанный медперсонал больницы понимал уровень такой «босоногой» квалификации, но не смел в нем усомниться, ибо это означало сомнение в правильности политики партии и лично Председателя Мао.

«Босоногий врач», не страшась буржуазной заразы, подошел к пациенту, сосчитал его пульс. Сильно ускоренный, но, объяснил «врач», так и должно быть, поскольку у этой гниды даже в подсознании живет страх перед гневом революционных масс, что и заставляет сердце биться чаще, чем у идеологически чистого представителя народных масс.

Актеру дали какие-то таблетки и оставили под деревом. Шли дни. Время от времени приставленный к нему «босоногий врач» появлялся у окна и бросал подозрительный взгляд

на больного. Иногда подходил, трогал лоб.

Однажды лоб оказался холодным. Пульс не прослушивался. Глаза актера были направлены на «босоногого врача», но смотрели не на него, а в себя или, вернее, в тот мир, куда переселилась его душа. Взгляд был спокоен и умиротворен.

Видимо, в отношении этого контрреволюционера была допущена какая-то идеологическая ошибка, и его душе позволили сбежать туда, куда не доносится рев классовой борьбы. Кому-то придется ответить за это!



**Больно...**

## **Памяти кинорежиссера**



## **Чжан Нуаньсин**

**Больно... Очень больно... Нестерпимо больно... Отчего**

так нестерпимо? Столько разных болей было в ее жизни, и многие до того мига, пока не обуздаешь себя, казались нестерпимыми, хотелось кричать, выть, бежать. А куда бежать? Если боль снаружи, убежать еще можно. Да и то не всегда. Поймают, водворят на место, пропесочат на парткомме. И ушлют еще дальше.

Но боль сидела внутри. Как и сейчас. Ну, не совсем так, как сейчас. Прежде боль забиралась в нее извне. Из жизни. Ведь, как ни отгораживайся от жизни, та всегда рядом, отчетливо видная, и если в ней происходят чудовищные вещи, как не болеть сердцу! Но терпеть всегда можно. Во всяком случае, ей удавалось. Может, потому и появилась эта нестерпимая боль – как наказание за слишком долгое терпение?!

А откуда вошла в нее нынешняя боль? Жуткая боль! Такая, что... И кричать тут мало, и выть, а уж убежать – просто сил нет. Она лежит, распластанная, на белой кровати в белой комнате, и небо за окном белое. Люди, все в белом, проходят мимо нее, изредка притормаживая свое нескончаемое движение, но все больше мимо, мимо. Больно... Больно... А надо терпеть.

Это последняя боль, она твердо знает. А что будет потом? В каком новом образе возродится она и будет ли помнить то, что происходило в этом, нынешнем? И что лучше – помнить или нет? Было столько тяжкого, давящего, стискивающего... Но ведь забудешь – и пойдешь по кругу, повторяя все ошибки, заблуждения... Нет, надо разорвать круг и выйти на спи-

раль. И вновь повторять, только чуть иначе – на новом витке?

Нет, дело, наверное, не в форме движения, а в тех поступках, которые ты совершаешь: какие-то из них способны разорвать повторяющееся движение. Какие?! Совершала она такие или нет? Узнает. Завтра, послезавтра, через несколько дней, когда с этим телом, ставшим чужим, даже враждебным, будет покончено и чистая душа отправится на новый уровень ощущений. Чистая? О, Небо, сколько на ней пятен!

Да хотя бы тот страшный день *лю-сы*<sup>2</sup>... Она и сейчас, если копнуть в самую глубину, не ответит себе, права ли была тогда, заколебавшись и не пойдя на площадь. Отчего? Трудно объяснить. Не менее трудно понять. Даже самой понять, а уж что тогда говорить о других. А простить? Совсем невозможно. Человек искусства, она жила эмоциями. Эмоции звали на площадь, в стихийную, неорганизованную, сбившуюся комом толпу, жаждавшую свободы.

Наверно, правильнее бы эту самую «свободу» закавычить. Не потому, что она была фальшивой, ненатуральной, грубо сколоченной. А потому, что та свобода, к которой они стремились и которую хотели осуществить тут, прямо на площади, не была настоящей, осознанной, сознательной свободой, естественной свободой естественного человека, необхо-

---

<sup>2</sup> «Четвертый день шестого месяца» – так в КНР сокращенно именуют события 4 июня 1989 г., когда в Пекине на центральной площади Тяньаньмэнь войска подавили либеральное молодежное движение.

димой ему не как, скажем, обеденный стол (перекусить можно и в уголочке на корточках), а как воздух, без которого нельзя жить.



Конечно, они могли бы существовать без свободы. Хотели, жаждали свободы, изнывали в тоске по свободе... Но могли обойтись и без нее. Обходились же столетия, тысячелетия, втиснутые в нормативизированные «ритуалы», и даже последние десятилетия, когда публично отказались от старозаветных канонов – и опутали себя новыми, не считая их таковыми. Они еще четко не представляли себе, что такое свобода и какой ценой человек обретает ее. Она казалась им

чем-то вроде «Персикового источника», исполненного безмятежной гармонии<sup>3</sup>.

Но подлинная свобода сурова. Это они поняли позже, когда в предутренних сумерках на них пошли танки, давя людей и романтическую, цвета голубой мечты Статую Свободы, наспех сооруженную накануне при свете уходящего заката. Развевающиеся голубые одежды наматывались на гусеницы и с треском рвались, превращаясь вновь в тряпки.

Ее-то там не было, это он, вернувшись окраинными перелучками, рассказал все. И то, что видел, и то, что ощущал, и то, что теперь задумал. Вернулся совсем другим. Уходил суровый, словно прощаясь с ней, струсившей, навсегда. Пришел поникшим, растерянным, в разодранной одежде и с растерзанной душой. Не таким представлял он себе торжество демократии. Подошел к ней, обмягший и мягкий. Попросил прощения. За что?! За злые слова, испепеляющий взгляд? Пустое. Она не была пророчицей, просто ирреальная интуиция художника, усиленная природным консерватизмом женщины, удержала ее, не объясняя. Интересно, будь Жанна-д-Арк художницей, встала ли бы она во главе войска освободителей? А Хуа Мулань – повела бы солдат на захватчиков? Нет единого типа женщины, как и мужчины, и в каждом кон-

---

<sup>3</sup> Поэма древнего поэта Тао Юаньмина о рыбаке, случайно заплывшем в счастливое местечко, мистическим образом отгороженное от реального мира, и больше ни разу не сумевшем попасть туда.

кретном человеке они, как *инь* и *ян*<sup>4</sup>, переплетаются, выплавляя личность, каждую в своей пропорции.

Быть может, поэтому, казнясь и терзаясь, она осталась в Пекине. Чтобы испить чашу до дна. А он пробрался в Гонконг, оттуда в Америку и осел в Лос-Анджелесе. Политэмигрантом. Писал, как и прежде. И не так, как прежде. Раньше они, по школе еще помнившие Белинского, называли его «неистовый Бе». Его гневные, разящие статьи о литературе, театре, кино, живописи звенели клинком шаолиньского монаха. Теперь же гнев обмяк и приходит, как мягкий зов буддийского гонга из сумеречной тиши леса.

---

<sup>4</sup> «Женское» и «мужское» начала в классической китайской философии.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.